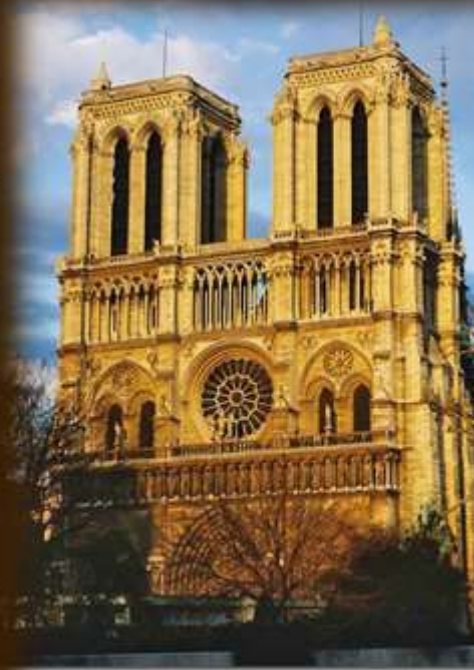




СОЧИНЕНИЯ

ГЮГО

ВИКТОР



Аннотация

Сборник сочинений Виктора Гюго, выдающегося французского творца 19 века, включает в себя романы, позволяющие оценить всю глубину и многогранность его писательского дара.

«Собор Парижской Богоматери» — это трогательное, жестокое и трагичное повествование о средневековых нравах. Образы юной цыганки Эсмеральды и горбуна Квазимодо запомнились не только читателям Гюго, но и многочисленным ценителям мюзиклов и кинофильмов, созданным по мотивам книги.

Самобытен и интересен роман-хроника «Девяносто третий год», повествующий о последних днях Великой французской революции.

Страницы романа «Труженики моря», воспевающего героическую борьбу человека с силами природы, познакомят читателя с малоизвестными аспектами творческих интересов Гюго.

Мировую славу Виктору Гюго также принесли произведения «Ган Исландец», «Последний день приговорённого к смерти» и другие.

Виктор Гюго

Сочинения

Девяносто третий год

Книга первая. В море

Часть первая

Книга первая. Содрейский лес

В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов, отправленных в Бретань под началом Сантерра,¹ вел разведку в грозном Содрейском лесу близ Астилле. Около трехсот человек насчитывал теперь этот отряд, больше чем наполовину растаявший в горниле суровой войны. То было после боев под Аргонном, Жемапом,² и

¹ *Сантерр* Антуан-Жозеф (1752–1809) — деятель французской революции, якобинец, пользовавшийся большой популярностью в Сент-Антуанском предместье, принимал активное участие в борьбе против вандейских мятежников.

² *Жемап* — бельгийский город; в битве при Жемапе 6 ноября 1792 года французские республиканские войска одержали блестящую победу над австрийскими войсками,

Вальми³ когда в первом парижском батальоне из шестисот волонтеров осталось всего двадцать семь человек, во втором — тридцать три и в третьем — пятьдесят семь человек. Памятная година героических битв.

Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было девятьсот двенадцать человек. Каждому батальону придали по три орудия. Сформировали их в спешном порядке. 25 апреля, в бытность Гойе⁴ министром юстиции и Бушотта⁵

следствием чего явилось занятие французскими войсками всей Бельгии.

³ *Вальми* — французское село; в битве при Вальми 20 сентября 1792 года австро-пруссские войска, шедшие на Париж с целью задушить революцию, были отброшены французскими революционными войсками и вынуждены были начать отступление. Битва при Вальми означала перелом в войне между революционной Францией и коалицией европейских монархов.

⁴ *Гойе* Луи-Жером (1746–1830) — французский политический деятель и адвокат, член Законодательного собрания, член правительства Директории, после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

⁵ *Бушотт* Жан-Батист-Ноэль (1754–1840) — деятель французской революции, якобинец, военный министр в 1793–1794 годах. Проявил большую энергию в организации

военным министром, секция Бон-Консейль предложила послать в Вандею несколько батальонов волонтеров; член коммуны Любен сделал соответствующее представление; первого мая Сантерр уже мог направить к месту назначения двенадцать тысяч солдат, тридцать полевых орудий и батальон канониров. Построение этих батальонов, возникших молниеносно, оказалось столь разумным, что и посейчас еще служит образцом при определении состава линейных рот; именно тогда впервые изменилось традиционное соотношение между числом солдат и числом унтер-офицеров.

28 апреля Коммуна города Парижа дала своим волонтерам краткий наказ: «Ни пощады, ни снисхождения!» К концу мая из двенадцати тысяч человек, покинувших Париж, восемь тысяч пали в бою.

Батальон, углубившийся в Содрейский лес, готов был к любым неожиданностям. Продвигались не торопясь. Зорко смотрели по сторонам направо и налево, вперед и назад; недаром Клебер⁶ говорил:

дела снабжения революционных войск продовольствием и боеприпасами.

⁶ *Клебер* Жан-Батист (1753–1800) — французский генерал, участник войн конца XVIII века; участвовал в борьбе

«У солдата и на затылке глаза есть». Шли уже давно. Сколько могло быть времени? День сейчас или ночь? Неизвестно, ибо в таких глухих чащах безраздельно господствует вечерняя мгла и в Содрейском лесу вечно разлит полумрак.

Трагическую славу стяжал себе Содрейский лес. Здесь, среди лесных зарослей, в ноябре 1792 года свершилось первое злодеяние гражданской войны. Из губельных дебрей Содрей вышел свирепый хромец Мускетон; длинный список убийств, совершенных в здешних лесах и перелесках, вызывает невольную дрожь. Нет на всем свете места страшнее. Углубляясь в чащу, солдаты держались настороже. Все кругом было в цветенье; приходилось пробираться сквозь трепещущую завесу ветвей, изливавших сладостную свежесть молодой листвы; солнечные лучи с трудом пробивались сквозь зеленую мглу; под ногой шпажник, касатик, полевые нарциссы, весенний шафран, безыменные цветочки — предвестники тепла, словно шелковыми нитями и позументом расцвечивали пышный ковер трав, куда вплетался разнообразным узором мох; здесь он рассыпал свои звездочки, там извивался зелеными

с вандейцами. Был убит в Египте во время переговоров об эвакуации оттуда французских войск.

червячками. Солдаты шагали медленно в полном молчании, с опаской раздвигая кустарник. Над остриями штыков щебетали птицы.

В гуще Содрейского леса некогда, в мирные времена, устраивались охоты на пернатых, ныне здесь шла охота на людей.

Стеной стояли березы, вязы и дубы; под ногой расстилалась ровная земля; густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов; ни тропинки, а если и встречалась случайная тропка, то тут же пропадала; заросли остролиста, терновника, папоротника, шпалеры колючего кустарника, и в десяти шагах невозможно разглядеть человека. Пролетавшая иногда над шатром ветвей цапля или водяная курочка указывали на близость болота.

А люди все шли. Шли навстречу неизвестности, страшась и с тревогой поджидая появления того, кого искали сами.

Время от времени попадались следы привала — выжженная земля, примятая трава, наспех сбитый из палок крест, груда окровавленных ветвей. Вот там готовили ужин, тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть, совсем рядом, залегли в засаде с ружьем в руке? Лес словно вымер. Батальон двигался вперед с удвоенной осмотрительностью. Безлюдье — верный знак

опасности. Не видно никого, тем больше оснований остерегаться. Недаром о Содрейском лесе ходила дурная слава.

В таких местах всегда возможна засада.

Тридцать гренадеров, отряженные в разведку под командой сержанта, ушли далеко от основной части отряда. С ними отправилась и батальонная маркитантка. Маркитантки вообще охотно следуют за головным отрядом. Пусть на каждом шагу подстерегает опасность, зато чего только не насмотришься... Любопытство — одно из проявлений женской храбрости.

Вдруг солдаты маленького передового отряда почувствовали тот знакомый охотнику трепет, который предупреждает его о близости звериного логова. Будто слабое дуновение пронеслось по ветвям кустарника, и, казалось, что-то шевельнулось в листве. Идущие впереди подали знак остальным.

Офицеру не для чего командовать действиями разведчика, в которых выслеживание сочетается с поиском; то, что должно быть сделано, делается само собой.

В мгновение ока подозрительное место было окружено и замкнуто в кольцо вскинутых ружей: черную глубь чащи взяли на прицел со всех четырех сторон, и солдаты, держа палец на курке, не отрывая глаз от цели, ждали лишь команды

сержанта.

Но маркитантка отважно заглянула под шатер ветвей, и, когда сержант уже готов был отдать команду: «Пли!», раздался ее крик: «Стой!»

Затем, повернувшись к солдатам, она добавила: «Не стреляйте, братцы!»

Она бросилась в кустарник. Солдаты последовали за ней.

И впрямь там кто-то был.

В самой гуще кустарника на краю круглой ямы, где лесорубы, как в печи, пережигают на уголь старые корневища, в просвете расступившихся ветвей, словно в зеленой горнице, полускрытой, как альков, завесою листвы, сидела на мху женщина; к ее обнаженной груди припал младенец, а на коленях у нее покоились две белокурые головки спящих детей постарше.

Это и была засада!

— Что вы здесь делаете? — воскликнула маркитантка.

Женщина молча подняла голову.

— Да вы, видно, с ума сошли, что сюда забрались! — добавила маркитантка.

И заключила:

— Еще минута, и вас бы на месте убили!..

Повернувшись к солдатам, она пояснила:

— Это женщина!

— Будто сами не видим! — сказал кто-то из

гренадеров.

— Пойти вот так в лес, чтобы тебя тут же убили, — не унималась маркитантка, — надо ведь такую глупость придумать!

Женщина, оцепенев от страха, с изумлением, словно спросонья, глядела на ружья, сабли, штыки, на страшные лица.

Дети проснулись и захныкали.

— Мне есть хочется, — сказал один.

— Мне страшно, — сказал второй.

Лишь младенец продолжал спокойно сосать материнскую грудь.

Глядя на него, маркитантка проговорила:

— Только ты один не растерялся.

Мать онемела от ужаса.

— Да не бойтесь вы, — крикнул ей сержант, — мы из батальона Красный Колпак!

Женщина задрожала всем телом. Она робко взглянула на сержанта и не увидела на его обветренном лице ничего, кроме густых усов, густых бровей и пылавших, как уголья, глаз.

— Бывший батальон Красный Крест, — пояснила маркитантка.

А сержант добавил:

— Ты кто такая, сударыня, будешь?

Женщина, застыв от ужаса, не спускала с него глаз. Она была худенькая, бледная, еще молодая, в жалком рубище; на голову она, как все бретонские

крестьянки, накинула огромный капюшон, а на плечи шерстяное одеяло, подвязанное у шеи веревкой. С равнодушием дикарки она даже не потрудилась прикрыть голую грудь. На избитых в кровь ногах не было ни чулок, ни обуви.

— Нищенка, что ли? — спросил сержант.

В разговор снова вмешалась маркитантка:

— Как звать-то?

Вопрос прозвучал по-солдатски грубо, но в нем чувствовалась чисто женская мягкость.

Женщина невнятно пробормотала в ответ:

— Мишель Флешар.

А маркитантка тем временем ласково гладила шершавой ладонью головку младенца.

— Сколько же нам времени? — спросила она.

Мать не поняла вопроса. Маркитантка повторила:

— Я спрашиваю, сколько ему лет?

— А, — ответила мать. — Полтора годика.

— Смотрите, какие мы взрослые, — воскликнула маркитантка. — Стыдно такому сосать. Придется, видно, мне отучать его от груди. Мы ему супу дадим.

Мать немного успокоилась. Двое старших ребятишек, которые тем временем уже успели окончательно проснуться, смотрели вокруг с любопытством и, казалось, даже не испугались. Уж очень были пышны плюмажи у гренадеров.

— Ах, — вздохнула мать, — они совсем изголодались.

И добавила:

— Молоко у меня пропало.

— Еды им сейчас дадут, — закричал сержант, — да и тебе тоже. Не о том речь. Ты скажи нам, какие у тебя политические убеждения?

Женщина молча смотрела на сержанта.

— Ты что, не слышишь, что ли?

Она пробормотала:

— Меня совсем молодой в монастырь отдали, а потом я вышла замуж, я не монахиня. Святые сестры научили меня говорить по-французски. Нашу деревню сожгли. Вот мы и убежали в чем были, я даже башмаков надеть не успела.

— Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?

— Не знаю.

Но сержант не унимался:

— Пойми ты, сейчас много шпионок развелось. А шпионок, брат, расстреливают. Поняла? Потому отвечай. Ты не цыганка? Где твоя родина?

Женщина глядела на сержанта, будто не понимая его слов. Сержант повторил:

— Где твоя родина?

— Не знаю, — ответила женщина.

— Как так не знаешь! Не знаешь, откуда ты

родом?

— Где родилась? Знаю.

— Ну, так и говори, где родилась.

Женщина ответила:

— На ферме Сискуаньяр в приходе Азэ.

Туг пришла очередь удивляться сержанту. Он на минуту задумался. Потом переспросил:

— Как ты сказала?

— Сискуаньяр.

— Так разве твой Сискуаньяр — родина?

— Да, это мой край.

Она нахмурила брови и сказала:

— Теперь я поняла, сударь. Вы из Франции, а я из Бретани.

— Ну и что?

— Это ведь разные края.

— Но родина-то у нас одна, — закричал сержант.

Женщина упрямо повторила:

— Мы сискуаньярские.

— Ну, ладно, Сискуаньяр так Сискуаньяр!
Твоя семья оттуда?

— Да!

— А что делают твои родные?

— Умерли все! У меня никого нет.

Сержант, человек красноречивый и любитель поговорить, продолжал допрос:

— У всех есть родные или были, черт возьми.

Ты кто такая? А ну, говори скорее.

Женщина слушала, оцепенев, эти окрики, похожие более на звериное рычание, чем на человеческую речь.

Маркитантка поняла, что пришло время снова вмешаться в беседу. Она погладила головку грудного младенца и ласково похлопала по щекам двух старших.

— Как зовут крошку? — спросила она. — По-моему, она у нас девица.

Мать ответила:

— Жоржетта.

— А старшего? Этот сорванец, видать, кавалер.

— Рене-Жан.

— А младшего? Ведь и он тоже настоящий мужчина, гляди какой щекастый.

— Гро-Алэн, — ответила мать.

— Хорошенькие детки, — одобрила маркитантка, — посмотрите только, прямо взрослые.

Но сержант не унимался:

— Отвечай-ка, сударыня. Дом у тебя есть?

— Был дом.

— Где был?

— В Азэ.

— А почему ты дома не сидишь?

— Потому что его сожгли.

— Кто сжег?

— Не знаю. Война сожгла.

— Откуда ты идешь?

— Оттуда.

— А куда идешь?

— Не знаю.

— Говори толком. Кто ты?

— Не знаю.

— Не знаешь, кто ты?

— Да просто бежим мы, спасаемся.

— А какой партии ты сочувствуешь?

— Не знаю.

— Ты синяя? Белая? С кем ты?

— С детьми.

Наступило молчание. Его нарушила маркитантка.

— А вот у меня детей нет, — вздохнула она. — Все некогда было.

Сержант снова приступил к допросу.

— А родители твои? А ну-ка, сударыня, доложи нам о твоих родителях. Меня вот, к примеру, звать Радуб, сам я сержант, я с улицы Шерш-Миди, мать и отец у меня были, я могу сказать, кто такие мои родители. А ты о своих скажи. Говори, кто были твои родители?

— Флешары. Просто Флешары.

— Флешары — это Флешары, а Радубы — это Радубы. Но ведь у человека не только фамилия

есть. Чем они занимались, твои родители? Что делали? Что сейчас подделывают? Что они такого нафлешарничали твои Флешары?

— Они пахари. Отец был калека, он не мог работать, после того как сеньор приказал избить его палками; так приказал его сеньор, наш сеньор; он, сеньор, у нас добрый, велел избить отца за то, что отец подстрелил кролика, а ведь за это полагается смерть, но сеньор наш помиловал отца, он сказал: «Хватит с него ста палок», и мой отец с тех пор и стал калекой.

— Ну, а еще что?

— Дед мой был гугенотом. Господин кюре сослал его на галеры. Я тогда еще совсем маленькая была.

— Дальше?

— Свекор мой контрабандой занимался — соль продавал. Король велел его повесить.

— А твой муж чем занимался?

— Воевал.

— За кого?

— За короля.

— А еще за кого?

— Конечно, за своего сеньора.

— А еще за кого?

— Конечно, за господина кюре.

— Чтобы вас всех громом порасшибало! — вдруг заорал один из гренадеров.

Женщина подскочила от страха.

— Видите ли, сударыня, мы парижане, — любезно пояснила маркитантка.

Женщина в испуге сложила руки и воскликнула:

— О господи Иисусе!

— Ну-ну, без суеверий! — прикрикнул сержант.

Маркитантка опустилась рядом с женщиной на траву и усадила к себе на колени старших детей, которые охотно к ней пошли. У ребенка переход от страха к полному доверию совершается в мгновение ока и без всяких видимых причин. Тут действует какое-то непогрешимое чутье.

— Бедняжка вы моя, бретоночка, детки у вас такие милые, просто прелесть. Сейчас скажу, сколько им лет. Вот тому, что побольше, — четыре годочка, а младшему — три. А девица эта, смотри, как сосет, сразу видать — знатная обжора. Ах ты, чудовище этакое! Ты так свою мамашу совсем скушаешь. Вот что, сударыня, вы ничего не бойтесь. Вступайте в наш батальон. Будете вроде меня. Зовут меня Гусарша. Это мое прозвище. Но по мне уж лучше Гусаршей зовите, чем мамзель Двурогой, как мою матушку. Я — маркитантка, а занятие наше маркитантское такое — разноси себе воду, пусть кругом стреляют и убивают. Хоть тут все на свете перевернись. У нас с вами одинаковая

нога, я вам свои башмаки подарю. Десятого августа я была в Париже и подавала напиток самому Вестерману.⁷ Ну, доложу я вам, было дело! Видела своими глазами, как гильотинировали Людовика Шестнадцатого, Луи Капета, его теперь так называют. Ух, и не хотелось же ему помирать! Да слушайте вы меня, черт возьми! Подумать только, еще тринадцатого января жарили ему каштаны, а он сидел со своим семейством да посмеивался! Когда его силком уложили «на доску», как у нас в Париже говорят, он был без сюртука и туфель, только в сорочке, в пикейном жилете, в серых шерстяных штанах и в серых шелковых чулках. Своими глазами видела... Карета, в которой его везли, была выкрашена в зеленый цвет. Послушайте меня, идите с нами. У нас в батальоне все славные ребята, будете маркитанткой номер второй, я вас живо делу научу. Нет ничего проще, — дадут тебе большую флягу и колокольчик, а ты расхаживай себе спокойно, ступай в самое пекло. Пули летают, пушки ухают, шум стоит адский, а ты знай кричи: «А ну, сынки, кому пить охота, а ну?» Говорю вам, дело немудреное. Я, например, всем подряд пить

⁷ *Вестерман* — французский генерал, участник войн против европейской коалиции и борьбы против вандейских мятежников.

подаю. Ей-богу, правда. И синим и белым, хотя сама-то я синяя. И самая настоящая синяя. А пить вот всем подаю. Ведь каждому раненому пить охота. Умирают-то все, и синие и белые, без различия убеждений. Перед смертью людям надо бы помириться. Нелепое это занятие — драться. Идите с нами. Если меня убьют, дело к вам перейдет. Вы не смотрите, что у меня такой вид, я женщина не злая, и солдат из меня неплохой бы вышел. Не бойтесь ничего.

Когда маркитантка закончила свою речь, женщина пробормотала:

— Нашу соседку звали Мари-Жанна, а нашу служанку звали Мари-Клод.

Тем временем сержант Радуб отчитывал гренадера:

— Молчал бы ты! Видишь, даму совсем напугал. Разве при дамах можно чертыхаться?

— Да ведь честному человеку такие слова слушать — прямо нож в сердце, — оправдывался гренадер, — легче на месте помереть, чем на этих самых чудищ заморских глядеть: отца сеньор искалечил, дедушку из-за кюре сослали на галеры, свекра король повесил, а они, дурьи башки, сражаются, устраивают мятежи, готовы дать себя уложить ради своего сеньора, кюре и короля!

Сержант скомандовал:

— В строю не разговаривать!

— Мы и так не разговариваем, сержант, — ответил гренадер, — да все равно с души воротит смотреть, как такая миленькая женщина сама лезет под пули в угоду какому-нибудь попу!

— Гренадер, — оборвал его сержант, — мы здесь не в клубе секции Пик. Не разглагольствуйте.

Он снова повернулся к женщине:

— А где твой муж, сударыня? Что он подельывает? Что с ним случилось?

— Ничего не случилось, потому что его убили.

— Где убили?

— В лесу.

— Когда убили?

— Третьего дня.

— Кто убил?

— Не знаю.

— Не знаешь, кто твоего мужа убил?

— Нет, не знаю.

— Синие убили? Белые убили?

— Ружье убило.

— Третьего дня, говоришь?

— Да.

— А где?

— Около Эрне. Мой муж упал. Вот и все.

— А когда твоего мужа убили, ты что стала делать?

— Пошла с детьми.

— Куда?

— Куда глаза глядят.

— Где спишь?

— На земле.

— Что ешь?

— Ничего.

Сержант скорчил непередаваемо свирепую гримасу, вздернув пышные усы к самому носу.

— Совсем ничего?

— Ежевику рвали, терн прошлогодний, он еще кое-где на кустах уцелел, чернику ели, побеги папоротника.

— Да это все равно, что ничего.

Старший мальчик, поняв, очевидно, о чем идет речь, повторил: «Есть хочу».

Сержант вытащил из кармана краюху хлеба — свое дневное довольствие — и протянул ее женщине. Она разломилла краюху пополам и дала по куску старшим детям. Они с жадностью принялись уплетать хлеб.

— А себе не оставила, — проворчал сержант.

— Потому что не голодна, — сказал солдат.

— Потому что мать, — сказал сержант.

Мальчики перестали жевать.

— Пить хочу! — сказал один.

— Пить хочу! — сказал другой.

Маркитантка сняла медную чарку, висевшую у нее на поясе рядом с колокольчиком, отвернула крышку жбана, который она носила через плечо,

нацедила несколько капель и поднесла чарку к губам ребенка.

Старший выпил и скорчил гримасу.

Младший выпил и сплюнул.

— А ведь какая вкусная, — сказала маркитантка.

— Ты чем их попотчевала, водкой, что ли? — осведомился сержант.

— И еще какой, самой лучшей! Да разве деревенские понимают!

И она сердито вытерла чарку.

Сержант снова приступил к делу:

— Значит, сударыня, спасаешься?

— Пришлось.

— Бежишь, стало быть, напрямиком через поля?

— Сперва я бежала, сколько хватило сил, потом пошла, а потом свалилась.

— Ох вы, бедняжка, — вздохнула маркитантка.

— Люди все дерутся, — пробормотала женщина. — Кругом, куда ни погляди, всюду стреляют. А я не знаю, чего кто хочет. Вот теперь мужа моего убили. Ничего я не понимаю.

Сержант звучно ударил прикладом о землю и сердито прокричал:

— Да будь она проклята, эта война!

— Прошлую ночь мы в дуплине спали.

— Все четверо?

— Все четверо.

— Стоя, значит, спали?

— Стоя.

— Да, — повторил сержант, — стоя спали...

И повернулся к солдатам.

— Товарищи, здешние дикари называют дуплиной большое такое дуплистое дерево, куда человек может втиснуться, словно в ножны. Да с них какой спрос. Ведь не парижане.

— Спать в дупле, — повторила маркитантка, — и еще с тремя ребятишками!

— Да, — промолвил сержант, — когда малыши рев поднимали, вот прохожие, должно быть, дивились, ничего не могли понять, — стоит дерево и кричит: «Папа, мама».

— Слава богу, сейчас хоть лето, — произнесла женщина.

Она опустила долу покорный взгляд, и в глазах ее отразилось огромное удивление перед непостижимым бременем бед.

Солдаты молча стояли вокруг маркитантки.

Несчастливая вдова, трое маленьких сироток, бегство, растерянность, одиночество, война, с грозным рыком обложившая весь горизонт, голод, жажда, единственная пища — трава, единственный кров — небо!

Сержант подошел поближе к женщине и поглядел на девочку, прижавшуюся к материнской

груди. Малютка выпустила изо рта сосок, повернула головку, уставилась красивыми синими глазками на страшную мохнатую физиономию, склонившуюся над ней, и вдруг улыбнулась.

Сержант быстро выпрямился, крупная слеза проползла по его щеке и, словно жемчужина, повисла на кончике уса.

— Товарищи, — сказал он громогласно, — из всего вышесказанного выходит, что батальону не миновать стать отцом. Как же мы поступим? Возьмем да и усыновим трех малышей.

— Да здравствует Республика! — прокричали гренадеры.

— Решено, — заключил сержант.

И он простер обе руки над матерью и детьми.

— Значит, — сказал он, — отныне это дети батальона Красный Колпак.

Маркитантка даже подпрыгнула от радости.

— Под одним колпаком три головки, — прокричала она.

Потом вдруг зарыдала в голос, поцеловала бедняжку вдову и проговорила:

— А маленькая-то уже и сейчас, видать, шалунья!

— Да здравствует Республика! — снова крикнули гренадеры.

Сержант повернулся к матери:

— Пойдемте, гражданка.

Книга вторая. Корвет «Клеймор»

I. Англия и Франция в смешении

Весной 1793 года, в те дни, когда враги яростно рвались к границам Франции, а сама Франция находила трагическую усладу в падении жирондистов, вот что происходило в Ламаншском архипелаге.

1 июня, приблизительно за час до захода солнца, на острове Джерсей, в маленькой пустынной бухточке Боннюи, готовился к отплытию корвет под прикрытием тумана, столь же верного покровителя беглецов, сколь опасного врага мирных мореплавателей. Судно это, обслуживаемое французским экипажем, числилось в составе английской флотилии, которая несла службу охраны у восточной оконечности острова. Английской флотилией командовал принц Латур Оверньский, из рода герцогов Бульонских, и именно по его приказу корвет был отряжен для выполнения важного и спешного поручения.

Этот корабль, значившийся в списках английского морского ведомства под названием «Клеймор», на первый взгляд казался обычным транспортным судном, хотя в действительности являлся военным корветом. По виду это было

прочное, тяжеловесное торговое судно, но горе тому, кто доверился бы внешним приметам. При постройке «Клеймора» преследовалась двоякая цель — хитрость и сила: если возможно — обмануть, если необходимо — драться. Чтобы успешно справиться с предстоящей задачей, обычный груз заменили тридцатью крупнокалиберными каронадами, занявшими все межпалубное пространство. В предвидении непогоды, а вернее, стремясь придать корвету мирное обличье торгового судна, все тридцать орудий принайтовили, или, проще говоря, прикрепили тройными цепями, причем жерла их упирались в закрытые ставни портов; самый зоркий глаз не обнаружил бы ничего подозрительного, тем более что окна и люки тоже были задраены; корвет словно надел на себя маску. Каронады были на лафетах с бронзовыми колесами старинного образца — со спицами. Как правило, на военных корветах орудия размещаются лишь на верхней палубе, однако «Клеймор», предназначенный для внезапных нападений и засад, не имел открытой батареи, но, как мы уже говорили, мог нести целую батарею на нижней палубе. При своих внушительных размерах и относительной тяжеловесности «Клеймор» был достаточно быстроходен и среди всех прочих судов английского флота славился прочностью корпуса,

так что в бою стоил целого фрегата, хотя его низкая бизань-мачта несла только одну бизань. Руль, редкой по тем временам, замысловатой закругленной формы, — творение саутгемптонских верфей, — обошелся в пятьдесят фунтов стерлингов.

Экипаж «Клеймора» состоял из французских офицеров-эмигрантов и французских матросов-дезертиров. Людей отбирали тщательно: каждый принятый на борт корвета должен был быть хорошим моряком, хорошим воином и хорошим роялистом. Каждый был трижды фанатиком — фанатически преданным корвету, шпаге и королю. На случай высадки экипажу корвета придали полубатальон морской пехоты.

Корветом командовал граф дю Буабертло, один из лучших офицеров старого королевского флота, кавалер ордена Святого Людовика; его старшим помощником был шевалье де Ла Вьевиль, который командовал той самой гвардейской ротой, где Гош начинал свою службу в качестве сержанта; лоцманом был самый опытный из всех лоцманов Джерсея — Филипп Гакуаль.

По всей видимости, корвету предстояло совершить незаурядные дела. Недаром «Клеймор» принял на борт человека, один вид которого говорил, что его стихия — риск и приключения. То был высокий, еще крепкий старик, не согбенный

годами, с суровым лицом, которое казалось и юным и старческим одновременно, что затрудняло определение его возраста; пусть такому человеку много лет, зато у него много сил, пусть поседели виски, зато глаза мечут молнии; сорок — по богатырскому сложению и восемьдесят — по уверенной в себе властности. В ту минуту, когда новый пассажир вступил на палубу, ветер отогнул край его плаща и открыл взорам широкие штаны, гетры и куртку из козьей шкуры всклокоченным мехом внутрь, расшитую по коже позументом, — традиционный наряд бретонского крестьянина. Такие куртки в Бретани раньше носили и в будни и в праздники, смотря по надобности, выворачивая наружу то мехом, то расшитой стороной, так что простая овчина становилась в воскресенье праздничным нарядом. Чтобы довершить сходство с крестьянской одеждой, костюм старика был с умыслом потерт на локтях и коленях и выглядел заношенным, а плащ из грубой ткани походил на обычное рубище рыбака. Голову старика венчала круглая по моде того времени шляпа с высокой тульей и широкими полями; при желании ее можно было носить и на крестьянский и на военный манер — в первом случае поля опускались, а во втором достаточно было приподнять один край и пристегнуть к тулье петлицей с кокардой. Сейчас шляпа была надета на крестьянский лад, без

кокарды и петлицы.

Лорд Балькаррас, губернатор острова, и принц де Латур Оверньский лично сопровождали старика на корабль. Тайный агент эмигрантской знати, некто Желамбр, состоявший прежде в охране графа д'Артуа,⁸ самолично следил за уборкой каюты для нового пассажира и, пренебрегши своим благородным происхождением, простер внимание и заботливость до того, что сам нес за стариком его баул. Отбывая обратно на сушу, г-н де Желамбр склонился перед мнимым крестьянином в низком поклоне; лорд Балькаррас сказал ему: «Желаю успеха, генерал», а принц Оверньский добавил: «До скорой встречи, кузен!»

Матросы «Клеймора» тут же окрестили нового пассажира «Мужиком», и эта кличка то и

⁸ *Граф д'Артуа* (1757–1836) — французский принц из династии Бурбонов, брат Людовика XVI. Через два дня после падения Бастилии бежал за границу; руководил изменническими действиями дворян-эмигрантов. В 1814 году, после свержения наполеоновской империи, возвратился во Францию. В 1824 году, после смерти своего брата Людовика XVI, стал королем Франции под именем Карла X. Проводил политику защиты интересов наиболее реакционных слоев дворянства и высшего католического духовенства. Такая политика вызвала рост общественного недовольства в стране. Июльская революция 1830 года свергла Карла X. Он бежал за границу, где и умер.

дело повторялась в тех обрывистых фразах, которые заменяют морякам беседу, но кто он, откуда взялся и зачем попал на судно, оставалось для них загадкой; однако они быстро поняли, что этот «Мужик» такой же мужик, как корвет — торговое судно.

Ветра почти не было. «Клеймор» вышел из бухты Боннюи, миновал Булэй-Бэй и некоторое время, прежде чем взять курс в открытое море, шел в виду берега; затем, постепенно уменьшаясь в размерах, судно исчезло во мраке.

Час спустя, вернувшись к себе в Сент-Элье, Желамбр отправил с саутгемптонским курьером в штаб-квартиру герцога Йоркского ⁹ следующие строки, адресованные графу д'Артуа:

*«Ваше высочество, отъезд
состоялся. Успех обеспечен. Через
неделю все побережье от Гранвиля до*

⁹ Герцог Йоркский (1763–1827) — второй сын английского короля Георга III. Во время войны европейской коалиции против революционной Франции командовал английскими войсками в Голландии; потерпел поражение и в 1794 году отплыл обратно в Англию. Неудачей окончились и действия английских войск под его командованием в 1799 году. Бездарный полководец, но весьма честолюбивый и корыстолюбивый человек.

Сен-Мало будет объято пламенем».

А за четыре дня до того тайный эмиссар вручил депутату от Марны гражданину Приеру,¹⁰ прикомандированному с особыми полномочиями к Шербургской береговой армии и квартирующему в Гранвиле, послание, написанное той же рукой, что и первое, и гласившее:

«Гражданин депутат, 1 июня, с началом прилива, снимется с якоря корвет «Клеймор», несущий на себе батарею, скрытую на нижней палубе, цель его плавания — высадить на французский берег некоего человека, чьи приметы приводятся ниже: рост высокий, возраст пожилой, волосы седые, одежда крестьянская, руки аристократические. Завтра постараюсь сообщить более точные сведения. Высадка намечена на утро 2 июня. Поставьте в известность

¹⁰ *Приер* (из департамента Марны) Пьер-Луи (1756–1827) — деятель французской революции XVIII века, якобинец; был членом Учредительного собрания, членом Конвента и Комитета общественного спасения; в качестве комиссара Конвента проявил большую энергию в борьбе с вандейскими мятежниками.

*эскадру, захватите корвет,
прикажете гильотинировать
вышеозначенного человека».*

II. Корабль и пассажир, скрытые во мраке

Вместо того чтобы идти на юг и держать путь на Сент-Катрин, корвет взял курс на север, потом повернул на запад и смело вошел в пролив между Серком и Джерсеем, известный под именем «Пролив бедствий». Ни на левом, ни на правом берегу в те времена маяков не было.

Солнце давно уже село; ночь выдалась темная, темнее, чем обычно; вот-вот должна была появиться луна, но тяжелые тучи — редкое явление в период солнцестояния и частое в дни равноденствия — затянули небосвод, и, судя по всем признакам, луна должна была проглянуть, уже склонившись к горизонту, лишь перед самым заходом. Тучи нависали все ниже, обволакивая морскую гладь пеленой тумана.

Эта темень как нельзя более благоприятствовала «Клеймору».

В намерения лоцмана Гакуаля входило оставить Джерсей слева, а Гернсей справа и, смелым маневром пройдя между Гануа и Дуврами, достичь любой бухты на побережье Сен-Мало,

другими словами, он избрал путь хотя и более длинный, чем на Менкье, зато и более безопасный, ибо французская эскадра, следуя приказу, особенно зорко охраняла берега между Сент-Элье и Гранвилем.

При попутном ветре, если ничего не произойдет, если можно будет поставить все паруса, Гакуаль надеялся достичь французского берега еще на рассвете.

Все шло благополучно, корвет обогнул мыс Гро-Нэ; однако к девяти часам вечера погода, по выражению моряков, зашалила: начался ветер, и поднялась волна; но ветер был попутный, а волна хоть и разгулялась, но не бушевала. Все же, при особенно сильном ударе о нос корвета, волны хлестали за борт.

«Мужик», коего лорд Балькаррас именовал «генералом», а принц Оверньский «кузеном», обладал, что называется, «морскими ногами»; он спокойно и важно, будто не замечая качки, расхаживал по палубе. Время от времени он вынимал из кармана куртки плитку шоколада, отламывал кусочек и клал в рот; этот седовласый старец сохранил все зубы до единого.

Он ни с кем не вступал в беседу, только изредка бросал вполголоса и отрывисто несколько слов капитану, который выслушивал его замечания с почтительным видом, словно не он, капитан, а

загадочный пассажир был подлинным командиром корабля.

Подчиняясь руке опытного лоцмана, «Клеймор» прошел незамеченным в тумане вдоль длинного крутого северного берега Джерсея, держась как можно ближе к суше, чтобы не натолкнуться на грозный риф Пьер-де-Лик, лежащий в самой середине пролива между Джерсеем и Серком. Гакуаль, не покидая руля, время от времени выкрикивал названия оставшихся позади рифов — Грев-де-Лик, Гро-Нэ, Племон — и вел корвет среди разветвленной их гряды почти ощупью, но уверенно, будто находился у себя дома, будто ему были открыты все тайны океана. Фонаря на носу корвета не зажгли, опасаясь обнаружить свое присутствие в этих зорко охраняемых водах. Все благословляли туман. Уже миновали Гранд-Этап, но сквозь туманную пелену еле обозначался высокий силуэт Пинакля. На колокольне Сент-Уэн пробило десять, и на корвете отчетливо прозвучал каждый удар — верный знак того, что ветер дует в корму. Все по прежнему шло хорошо, только волнение усилилось, как и обычно вблизи Корбьера.

В начале одиннадцатого часа граф дю Буабертло и шевалье де Ла Вьевиль проводили старика в крестьянском наряде до его каюты, вернее до капитанской каюты, которую тот

предоставил к услугам гостя. Уже приоткрыв дверь, старик вдруг остановился и сказал вполголоса:

— Надеюсь, господа, вам не нужно напоминать, что тайна должна быть сохранена свято. Полное молчание до той минуты, пока не произойдет окончательный взрыв. Лишь вам одним известно мое имя.

— Мы унесем его с собой в могилу, — ответил дю Буабертло.

— А я, — прервал старик, — не открою его даже в свой смертный час.

И дверь каюты затворилась.

III. Знать и простолюдины в смешении

Капитан и его помощник поднялись на палубу и зашагали рядом, о чем-то беседуя. Видимо, они говорили о пассажире, и вот каков был этот ночной разговор, заглушаемый ветром.

Дю Буабертло вполголоса сказал Ла Вьевиллю:

— Скоро мы увидим, каков он в роли вождя.

Ла Вьевиль возразил:

— Что бы там ни было, он — принц.

— Как сказать!

— Во Франции — дворянин, в Бретани — принц.

— Точно так же, как Тремуйли¹¹ и Роганы¹².

— Кстати, он с ними в свойстве.

Буабертло продолжал:

— Во Франции и на выездах у короля он маркиз, как я — граф и как вы — шевалье.

— Где теперь эти выезды! — воскликнул Ла Вьевиль. — Началось с кареты, а кончилось повозкой палача.

Наступило молчание.

Первым нарушил его Буабертло.

— За неимением французского принца приходится довольствоваться принцем бретонским.

— За неимением орла... и ворон хорош.

— Мне куда больше был бы по душе ястреб, — возразил Буабертло.

На что Ла Вьевиль ответил:

— Еще бы! Клюв и когти.

¹¹ *Тремуйль* Антуан-Филипп, князь де Тальмон — французский генерал, выходец из старинного дворянского рода, в начале революции эмигрировал, затем возвратился во Францию и присоединился к вандейцам. В 1794 году был арестован и казнен.

¹² *Роганы* — старинный французский дворянский род, владевший огромными поместьями в Бретани. Представители фамилии Роганов носили княжеский титул и находились в родстве с французской королевской династией Бурбонов.

— Увидим.

— Да, — произнес Ла Вьевиль, — давно пора подумать о вожде. Я лично вполне разделяю девиз Тентениака: «Вождя и пороха!» Так вот, капитан, я знаю приблизительно всех кандидатов в вожди, как пригодных для этой цели, так и вовсе непригодных, знаю вождей вчерашних, сегодняшних и завтрашних, и ни в одном нет настоящей военной жилки, а она-то нам как раз и нужна. Что требуется для этой дьявольской Вандеи? Чтобы генерал был одновременно и испытанным крючкомвором: пусть изводит врага, пусть оттягает сегодня мельницу, завтра куст, послезавтра ров, простые булыжники и те пусть оттягает, пусть ставит ловушки, пусть все оборачивает себе на пользу, пусть крушит всех и вся, пусть примерно карает, пусть не знает ни сна, ни жалости. Сейчас в их мужицком воинстве есть герои, но вождей нет. Д'Эльбе.¹³ — полнейшее ничтожество, Лескюр¹⁴ — болен, Боншан¹⁵ —

¹³ *Д'Эльбе* — один из предводителей вандейских мятежников.

¹⁴ *Лескюр*, де — один из главных руководителей вандейских мятежников.

¹⁵ *Боншан Шарль*, де — один из главных руководителей вандейских мятежников; умер от ран, полученных в бою

миндальничает; он добряк, что уж совсем глупо. Ларошжаклен¹⁶ незаменим на вторых ролях; Сильз хорош лишь для регулярных действий и негоден для партизанской войны; Катлино¹⁷ — простодушный ломовик; Стоффле¹⁸ — хитрый лесной сторож, Берар — бездарен, Буленвилье — шут гороховый, Шаретт¹⁹ — страшен. Я не говорю уже о нашем цирюльнике Гастоне²⁰ В самом деле,

(1793).

¹⁶ *Ларошжаклен* Анри, де — крупный помещик-дворянин в Бретани; был одним из предводителей вандейских мятежников.

¹⁷ *Катлино* — один из предводителей вандейских мятежников.

¹⁸ *Стоффле* Никола (1751–1796) — один из главных предводителей вандейских мятежников; отличался зверской жестокостью в обращении с пленными республиканцами; был расстрелян по приговору военного суда.

¹⁹ *Шаретт де ла Контри*, Франсуа-Атаназ (1763–1796) — один из главных руководителей вандейского мятежа; крайне жестоко расправлялся с пленными республиканцами; был взят в плен и расстрелян.

²⁰ *Гастон* — один из предводителей вандейских

не понимаю, почему мы в конце концов поносим революцию, так ли уж велико различие между республиканцами и нами, коль скоро у нас дворянами командуют господа брадобреи?

— А все потому, что эта проклятая революция и нас самих тоже портит.

— Да, тело Франции изъедено проказой.

— Проказой третьего сословия, — подхватил дю Буабертло. — Одна надежда на помощь Англии.

— И она поможет, не сомневайтесь, капитан.

— Поможет завтра, а худо-то уже сегодня.

— Согласен, изо всех углов лезет смерд; раз монархия назначает главнокомандующим Стоффле, лесника господина де Молеврие, нам нет никаких оснований завидовать республике, где в министрах сидит Паш,²¹ сын швейцара герцога де Кастри. Да, в Вандейской войне будут презабавные встречи, — с одной стороны — пивовар Сантерр, с другой — цирюльник Гастон.

— А знаете, дорогой Вьевиль, я ценю Гастона,

мятежников.

²¹ *Паш* Жан-Никола (1746–1823) — деятель французской революции конца XVIII века, жирондист, а позже якобинец, одно время был военным министром, затем мэром Парижа, сыграл видную роль в установлении якобинской диктатуры. После ее крушения отошел от политической деятельности.

он неплохо показал себя, когда командовал войсками при Гименэ. Без дальних слов велел расстрелять триста синих да еще приказал им предварительно вырыть себе братскую могилу.

— Что ж, в добрый час, но и я бы с этим делом не хуже его справился.

— Конечно, справились бы. Да и я тоже.

— Видите ли, — продолжал Ла Вьевиль, — великие военные деяния требуют в качестве исполнителя человека благородной крови. Такие деяния по плечу рыцарям, а не цирюльникам.

— Однакож и в третьем сословии встречаются приличные люди, — возразил дю Буабертло. — Вспомните хотя бы часовщика Жоли.²² Во Фландрском полку он был простым сержантом, а сейчас он вождь вандейцев, командует одним из береговых отрядов, у него сын республиканец; отец служит у белых, сын у синих. Встречаются. Дерутся. И вот отец берет сына в плен и стреляет в него в упор.

— Да, это хорошо, — подтвердил Ла Вьевиль.

— Настоящий Брут,²³ Брут-роялист, —

²² *Жоли* — один из предводителей вандейских мятежников.

²³ *Брут* Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель, защитник интересов земельной

сказал дю Буабертло.

— И все-таки тяжело идти в бой под командованием разных Кокро,²⁴ Жан-Жанов, каких-то Муленов, Фокаров, Бужю, Шуппов.

— То же чувство, дражайший шевалье, испытывают и в другом лагере. В наших рядах сотни буржуа, в их рядах сотни дворян. Неужели вы полагаете, что санкюлоты,²⁵ в восторге от того, что ими командует граф де Канкло²⁶ виконт де Миранда,²⁷ виконт де Богарне,²⁸ граф де

аристократии, руководил заговором против Цезаря и его убийством (в 44 г.).

²⁴ *Кокро* — один из вожаков вандейских мятежников.

²⁵ *Санкюлоты* — термин, служивший для обозначения активных участников французской революции конца XVIII века, выходцев из простого народа. Слово санкюлот происходит от французских слов *sans* (без) и *culotte* (короткие бархатные штаны, которые носили только дворяне и богачи; бедняки носили длинные панталоны из грубой материи).

²⁶ *Граф де Канкло* — французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией.

²⁷ *Виконт де Миранда* — французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской

Валанс,²⁹ маркиз де Кюстин.³⁰ и герцог Бирон³¹.

— Да, путаница изрядная.

— Не забудьте еще герцога Шартрского!³²

коалицией.

²⁸ *Виконт де Богарне* — французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией; был казней в 1793 году по обвинению в измене.

²⁹ *Валанс* Сирюс-Мари-Александр, граф, де (1757–1822) — французский генерал, участвовал в войне революционной Франции против европейской коалиции, но в 1793 году эмигрировал. Возвратившись во Францию в 1800 году, принял участие во многих наполеоновских походах. В период реставрации Бурбонов был членом палаты пэров.

³⁰ *Маркиз де Кюстин* — французский генерал, участник войн конца XVIII века, был казнен в 1793 году по обвинению в сдаче крепости Майнц войскам коалиции.

³¹ *Герцог де Бирон* — французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией.

³² *Герцог Шартрский* Луи-Филипп (1776–1850) — старший сын герцога Филиппа Орлеанского, родственника короля Людовика XVI; в первые годы французской революции прикидывался из честолюбивых побуждений сторонником революции, отрекся от своего титула и принял фамилию Эгалитэ (то есть Равенство), участвовал в сражениях

— Сына Филиппа Эгалитэ.³³ Когда Филипп, по-вашему мнению, станет королем?

— Никогда.

— А все же он подымается к трону. Его возносят его собственные преступления и тянут вниз собственные пороки, — добавил дю Буабертло.

Вновь воцарилось молчание, которое прервал капитан:

— А ведь он был бы весьма не прочь пойти на мировую. Приезжал нарочно повидаться с королем. Я как раз находился в Версале, когда ему плюнули

французской республиканской армии против войск европейской коалиции. В 1793 году принял участие в контрреволюционном заговоре генерала-изменника Дюмурье; после разоблачения этого заговора бежал за границу; в 1814 году возвратился во Францию. После июльской революции 1830 года стал королем под именем Луи-Филиппа. Февральская революция 1848 года свергла его с престола.

³³ *Эгалитэ* Филипп (1744–1794) — отец предыдущего, герцог Филипп Орлеанский, принявший фамилию Эгалитэ (то есть Равенство), вступивший в Якобинский клуб и ставший членом Конвента. Прикидывался убежденным якобинцем, голосовал за казнь Людовика XVI. Впоследствии истинное лицо Филиппа Эгалитэ и его честолюбивые замыслы были разоблачены, и он был казнен по приговору Революционного трибунала.

вслед.

— С главной лестницы?

— Да.

— И хорошо сделали.

— У нас его прозвали «Бурбон-Бубон».

— Очень метко, плешивый, прыщавый, царубийца, фу, пакость какая!

И добавил:

— Мне довелось быть с ним в бою при Уэссане.

— На корвете «Святой дух»?

— Да.

— Если бы он держался на ветре, следуя сигналу адмирала д'Орвилье, англичане ни за что бы не прорвались.

— Совершенно справедливо.

— А правда, что он со страха забился в трюм?

— Болтовня. Но такой слух распространить не вредно.

И Ла Вьевиль громко расхохотался.

— Есть еще на свете дураки, — продолжал капитан. — Возьмите хотя бы того же Буленвилье, о котором вы сейчас говорили. Я его знал, хорошо знал. Сначала крестьяне были вооружены пиками, а он забрал себе в голову превратить их в отряды копейщиков. Решил обучить их действовать пикой по всем правилам, как положено в воинских уставах. Мечтал превратить дикарей в регулярное

войско. Старался научить их всем видам построения батальонных каре. Обучал их старинному военному языку: вместо командира отделения говорил «капдэскадр», как называли капралов во времена Людовика Четырнадцатого. Уверял, что создаст регулярную часть — из этих-то браконьеров; сформировал роты, и сержантам полагалось каждый вечер становиться в кружок; сержант шефской роты сообщал на ухо сержанту второй роты пароль и отзыв, тот передавал их тем же путем соседу, тот следующему и так далее. Он разжаловал офицера за то, что тот, получая от сержанта пароль, не встал и не снял шляпу. Судите сами, что там творилось. Этот дуралей никак не мог понять одного: мужики хотят, чтобы ими и командовали по-мужичьи, и что нельзя приучить к казарме того, кто привык жить в лесу. Поверьте, я знаю вашего Буленвилье.

Они молча сделали несколько шагов, думая каждый о своем.

Затем разговор возобновился.

— Кстати, подтвердились слухи о том, что Дампьер³⁴ убит?

³⁴ *Дампьер* Огюст-Анри-Мари, де (1756–1793) — французский генерал, участник войн революционной Франции против коалиции европейских монархов; был убит в бою.

— Подтвердились, капитан.

— На подступах к Конде?

— В лагере Памар. Пушечным ядром.

Дю Буабертло вздохнул:

— Граф Дампьер. Вот еще один из наших, который перешел на их сторону.

— Ну и черт с ним! — сказал Ла Вьевиль.

— А где их высочества принцессы?

— В Триесте.

— Все еще в Триесте?

— Да.

И Ла Вьевиль воскликнул:

— Ах, эта республика! Сколько бед! Было бы из-за чего! И подумать только, что революция началась из-за какого-то дефицита в несколько несчастных миллионов!

— Ничтожные причины самые опасные, — возразил Буабертло.

— Все идет к черту, — сказал Ла Вьевиль.

— Согласен. Ларуари,³⁵ умер, дю Дрене³⁶ —

³⁵ *Де Ларуари*, маркиз — один из главных вожаков вандейских мятежников.

³⁶ *Дю Дрене* — один из предводителей вандейских мятежников.

совершенный дурак. А возьмите наших пастырей Печального Образа, всех этих зачинщиков, всех этих Куси³⁷ епископа Рошельского, возьмите Бопуаля Сент-Олэра,³⁸ епископа Пуатье, Мерси,³⁹ епископа Люсонского, любовника госпожи де Лэшасери...

— Которая, да было бы вам известно, зовется Серванто.⁴⁰ Лэшасери — название ее поместий.

— А этот лжеепископ из Агры, этот кюре неизвестно даже какого прихода.

— Прихода Доль. А звать его Гийо де

³⁷ *Куси* — епископ Ла Рошели, один из предводителей вандейских мятежников.

³⁸ *Бопуаль Сент-Олэр* — епископ Пуатье, один из предводителей вандейских мятежников.

³⁹ *Мерси* — епископ Люсона, один из предводителей вандейских мятежников.

⁴⁰ *Серван Жозеф* (1741–1808) — французский генерал и политический деятель; в начале революции был одно время военным министром; после перехода власти в руки якобинцев был арестован и заключен в тюрьму за близость к жирондистам. Впоследствии был восстановлен в звании генерала и занимал ряд видных постов в военном ведомстве.

Фольвиль. ⁴¹ Он, кстати сказать, человек очень храбрый и хорошо дерется.

— Нам нужны солдаты, зачем нам попы! Да еще епископы, которые вовсе и не епископы даже! И генералы, которые вовсе и не генералы!

Ла Вьевиль прервал капитана:

— Есть у вас в каюте последний номер «Монитера»?⁴²

— Есть.

— Интересно, что нынче дают в Париже?

— «Адель и Полэн» и «Пещеру».

— Вот бы посмотреть!

— Еще посмотрите. Через месяц мы будем в Париже.

И после минутного раздумья дю Буабертло добавил:

— Или чуть позднее. Господин Уиндхэм⁴³

⁴¹ *Гийо де Фольвиль* — епископ Дольский, один из предводителей вандейских мятежников.

⁴² «*Монитер*» — так называлась французская правительственная газета, издававшаяся с 1789 по 1868 год. Позже она была переименована в «*Журналь офисьель*».

⁴³ *Уиндхэм* Уильям (1750–1810) — английский политический деятель, принадлежал к партии вигов и одно время был сторонником парламентской реформы. В

сказал это лорду Гуду⁴⁴.

— Значит, капитан, наши дела не так еще плохи?

— Все идет превосходно, черт возьми, только в Вандее надо воевать лучше.

Ла Вьевиль покачал головой.

— Скажите, капитан, — спросил он, — высадим мы морскую пехоту?

— Высадим, если побережье за нас, и не высадим, если оно нам враждебно. Ведя войну, иной раз надо вламываться прямо в двери, а другой раз полезнее для дела проскользнуть бочком в щелку. Когда в стране идет гражданская война, необходимо держать наготове отмычку. Постараемся сделать все, что возможно. Но главное — вождь.

И задумчиво добавил:

— Скажите, Ла Вьевиль, что вы думаете о

дальнейшем перешел в лагерь крайней реакции, был военным министром в кабинете Питта-младшего, ярого врага революционной Франции.

⁴⁴ Гуд Самюэль (1724–1810) — английский адмирал, с 1786 года лорд адмиралтейства; во время войны с революционной Францией командовал английским флотом в Средиземном море, захватил Тулон, вообще активно поддерживал французскую контрреволюцию.

Дъези?⁴⁵

— О младшем?

— Да.

— В качестве военачальника?

— Да.

— Он годен лишь для регулярных действий и открытого боя. А здешние дебри признают только крестьянина.

— Следовательно, придется вам довольствоваться генералами Стоффле и Катлино.

Подумав с минуту, Ла Вьевиль сказал:

— Тут нужен принц. Французский принц, принц крови. Словом, настоящий принц.

— Почему же? Раз принц...

— Значит, трус. Знаю, знаю, капитан. Но все равно принц необходим, хотя бы для того, чтобы поразить воображение этого мужичья.

— Но, дорогой шевалье, принцы что-то не спешат.

— обойдемся и без них.

Дю Буабертло машинально потер ладонью лоб, словно это помогало пробиться наружу нужной мысли.

— Что ж, придется испытать нашего

⁴⁵ *Дъези*, де, шевалье (младший) — один из предводителей вандейских мятежников.

генерала, — произнес он.

— Во всяком случае, он чистокровный дворянин.

— Значит, по-вашему, он подойдет?

— Если только окажется хорош, — ответил Ла Вьевиль.

— То есть беспощаден, — уточнил дю Буабертло.

Граф и шевалье переглянулись.

— Господин дю Буабертло, вы сказали сейчас настоящее слово. Беспощадный, именно это нам и требуется. Наша война не ведает жалости. Пришел час кровожадных. Цареубийцы отрубили голову Людовику Шестнадцатому, мы четвертуем цареубийц. Да, нам нужен генерал, генерал Палач. В Анжу и в верхнем Пуату командиры играют в добряков, по уши увязли в великодушии, и, как видите, толку никакого. А в Марэ и в Ретце командиры умели быть жестокосердными, и все идет отлично. Только потому, что Шаретт жесток, он держится против Паррена.⁴⁶ Одна гиена стоит другой.

Буабертло не успел ответить. Последние слова Ла Вьевиля заглушил отчаянный крик,

⁴⁶ *Паррен* — французский генерал, принимал участие в борьбе против вандейских мятежников.

сопровождаемый шумом, не похожим на все существующие шумы. Крики и шум доносились с нижней палубы.

Капитан и помощник бросились туда, но не смогли пробиться. Орудийная прислуга в ужасе лезла наверх по трапу.

Произошло нечто ужасное.

IV. Tormentum belli⁴⁷

Одна из каронад, входящих в состав батареи — двадцатичетырехфунтовое орудие, сорвалось с цепей.

Не может быть на море катастрофы грознее. И не может быть бедствия ужаснее для военного судна, идущего полным ходом в открытое море.

Пушка, освободившаяся от оков, в мгновение ока превращается в сказочного зверя. Мертвая вещь становится чудовищем. Эта махина скользит на колесах, приобретая вдруг сходство с биллиардным шаром, кренится в ритм бортовой качки, ныряет в ритм качки килевой, бросается вперед, откатывается назад, замирает на месте и, словно подумав с минуту, вновь приходит в движение; подобно стреле, она проносится от борта к борту

⁴⁷ Орудие войны (лат.)

корабля, кружится, подкрадывается, снова убегает, становится на дыбы, сметает все на своем пути, крушит, разит, несет смерть и разрушение. Это таран, который бьет в стену по собственной прихоти. Добавьте к тому же — таран чугунный, а стена деревянная. Это освобождает себя материя, это мстит человеку его извечный раб, будто вся злоба, что живет в «неодушевленных», как мы говорим, предметах, разом вырывается наружу. Это она, слепая материя, мрачно берет реванш, и нет ничего беспощаднее ее гнева. Эта осатаневшая глыба вдруг приобретает гибкость пантеры, она тяжеловесна, как слон, проворна, как мышь, неумолима, как взмах топора, изменчива, как морская зыбь, неожиданна, как зигзаг молнии, глуха, как могильный склеп. Весу в ней десять тысяч фунтов, а скачет она с легкостью детского мяча. Вихревое круговращение и резкие повороты под прямым углом. Что делать? Как с ней справиться? Буря утихнет, циклон пронесется мимо, ветер уляжется, взамен сломанной мачты вырастет новая, пробоину, куда хлещет вода, задраят, пламя потушат, но как обуздать этого бронзового хищника? Как к нему подступить? Можно лаской уговорить свирепого пса, можно ошеломить быка, усыпить удава, обратить в бегство тигра, смягчить гнев льва; но все бессильно против этого чудовища — против сорвавшейся с цепей

пушки. Убить вы ее не можете — она и так мертва. И в то же время она живет. Живет своей зловещей жизнью, которая дана ей необузданностью стихий. Пол ей не опора, он лишь подбрасывает ее. Ее раскачивает корабль, корабль раскачивают волны, а волны раскачивает ветер. Она убийца и в то же время игрушка в чужих руках. Она сама во власти корабля, волн, ветра, у них заимствует она свое наводящее ужас бытие. Как разъять звенья этой цепи? Как обуздать этот чудовищный механизм катастрофы? Как предугадать кривую бега, повороты, резкие остановки, внезапные удары? Каждый такой удар по борту может стать причиной крушения. Как разгадать хитрости каронады? Ведь это словно выпущенный из жерла снаряд, который заупрямился, задумал что-то свое и ежесекундно меняет на ходу данное ему первоначально направление. Как же остановить его, если нельзя к нему приблизиться? Страшное орудие бесчинствует, бросается напролом, отступает вспять, разит налево, разит направо, бежит, проносится мимо, путает все расчеты, сметает все препятствия, давит людей, как мух. И трагизм положения усугубляется еще тем, что пол ни на минуту не остается в покое. Как вести бой на наклонной плоскости, которая норовит еще ускользнуть из-под ваших ног? Представьте, что в чреве судна заточена молния, ищущая выхода,

гром, гремящий в минуту землетрясения.

Через секунду весь экипаж был на ногах. Виновником происшествия оказался канонир, который небрежно завинтил гайку пушечной цепи и не закрепил как следует четыре колеса; вследствие этого подушка ездил по раме, станок расшатался, и в конце концов брус ослаб. Пушка неустойчиво держалась на лафете, и канат лопнул. В ту пору еще не вошел в употребление постоянный брюк, тормозящий откат орудия. В ставень порты ударила волна, плохо прикрепленная каронада откатилась, порвала цепь и грозно двинулась по нижней палубе.

Чтобы лучше представить себе это удивительное скольжение, вспомните, какой извилистый путь пролагает себе на оконном стекле дождевая капля.

В ту минуту, когда лопнула цепь, все канониры находились при батарее. Кучками по несколько человек или в одиночку они выполняли ту работу, которая требуется от каждого моряка в предвидении боевой тревоги. Повинуясь килевой качке, каронада ворвалась в толпу людей и первым же ударом убила четырех человек, потом, послушная боковой качке, отпрянула назад, перерезала, пополам пятую жертву и сбила с лафета одно из орудий левого борта. Вот почему на верхней палубе Буабертло и Ла Вьевиль услышали такой отчаянный крик. Вся прислуга бросилась к

трапу. Батарея сразу опустела.

Огромное орудие осталось одно. Осталось на свободе. Оно стало само себе господином, а также господином всего корабля, оно могло сделать с ним все, что заблагорассудится. Экипаж «Клеймора», с улыбкой встречавший вражеские ядра, задрожал от страха. Невозможно передать ужас, охвативший все судно.

Капитан дю Буабертло и его помощник Ла Вьевиль — два отважных воина — остановились на верхней ступеньке трапа и, побледнев как полотно, молча смотрели вниз, не решаясь действовать. Вдруг кто-то, отстранив их резким движением локтя, спустился на батарейную палубу.

Это был пассажир, прозванный «Мужиком», о котором они говорили за минуту до происшествия.

Добравшись до последней ступеньки трапа, он тоже остановился.

V. Vis et vir⁴⁸

Пушка беспрепятственно разгуливала по нижней палубе. Невольно приходила на мысль апокалиптическая колесница. Фонарь, раскачивавшийся под одним из бимсов, еще

⁴⁸ Сила и мужество (лат.)

усугублял фантастичность этой картины головокружительной сменой света и тени. Пушка то попадала в полосу света, вся ярко черная, то скрывалась во мраке, тускло и белесо поблескивая оттуда, и вихревой бег скрадывал ее очертания.

Каронада продолжала расправляться с кораблем. Она разбила еще четыре орудия и в двух местах повредила обшивку корабля, к счастью выше ватерлинии, но при шквальном ветре в пробоины могла хлынуть вода. С какой-то неестественной яростью обрушивалась каронада на корпус судна. Тимберсы еще держались, так как изогнутое дерево обладает редкой прочностью, но даже и они начали предательски трещать, словно под ударами исполинской дубины, которая била направо, налево, во все стороны одновременно, являя собой удивительный образ вездесущности. Представьте себе дробинку, которую трясут в пустой бутылке: даже выписываемые ею кривые и те уступали в своей быстроте и неожиданности прыжкам чудовища. Четыре колеса каронады многократно прошли по телам убитых ею людей, рассекли их на части, измололи, искромсали на десятки кусков, которые перекатывались по нижней палубе; казалось, мертвые головы вопят; ручейки крови то и дело меняли свое направление в зависимости от качки. Внутренняя обшивка корвета, поврежденная во многих местах, начинала

поддаваться. Все судно сверху донизу наполнял дьявольский грохот.

Капитан быстро обрел свое обычное хладнокровие, и по его приказанию через люк стали швырять вниз все, что могло задержать или хотя бы замедлить бешеный бег каронады, — матрацы, койки, запасные паруса, бухты тросов, матросские мешки, кипы с фальшивыми ассигнатами, которыми были завалены все трюмы корвета, ибо эта подлая выдумка англичан считалась законным приемом войны.

Но какую пользу могло принести все это тряпье, если ни один человек не решался спуститься и разместить, как надо, сброшенные вниз предметы? Через несколько минут вся нижняя палуба белела, словно ее усеяли мельчайшие обрывки корпии.

Море волновалось ровно настолько, чтобы усугубить размеры бедствия. Сильная буря пришла бы кстати; налетевший ураган мог бы перевернуть пушку колесами вверх, а тогда уже не составило бы труда укротить ее.

Тем временем разрушения становились все серьезнее. Уже треснули и надломились мачты, которые, опираясь о киль корабля, проходят через все палубы, наподобие толстых и круглых колонн. Под судорожными ударами пушки фок-мачта дала трещину и начала поддаваться грот-мачта. Батарея

пришла в полное расстройство. Десять орудий из тридцати выбыли из строя; с каждой минутой увеличивалось число пробоин в обшивке корвета, и он дал течь.

Старик пассажир застыл на нижней ступеньке трапа, словно каменное изваяние. Суровым взглядом следил он за разрушениями. Но не двигался с места. Казалось, было выше сил человека сделать хоть шаг по батарейной палубе.

Каждый поворот непокорной каронады приближал гибель судна. Еще минута, другая, и кораблекрушение неминуемо.

Приходилось или погибнуть, или предотвратить катастрофу, что-то предпринять. Но что?

Перед человеком был могучий противник — пушка.

Требовалось остановить эту обезумевшую глыбу металла.

Требовалось схватить на лету эту молнию.

Требовалось обуздать этот шквал.

Буабертло обратился к Ла Вьевиллю:

— Вы верите в бога, шевалье?

Ла Вьевиль ответил:

— Да. Нет. Иногда верю.

— Во время бури?

— Да. И в такие вот минуты — тоже.

— Вы правы. Только господь бог может нас

спасти, — промолвил Буабертло.

Все молча следили за лязгающей и гремящей каронадой.

Волны били в борт корабля, — на каждый удар пушки отвечало ударом море. Словно два молота состязались в силе.

Вдруг на этой неприступной арене, где на свободе металась пушка, появился человек с металлическим брусом в руках. Это был виновник катастрофы, канонир, повинный в небрежности, приведшей к бедствию, хозяин каронады. Содеяв зло, он решил исправить его. Зажав в одной руке ганшпуг, а в другой конец с затяжной петлей, он ловко соскочил в люк, прямо на нижнюю палубу.

И вот начался страшный поединок — зрелище поистине титаническое: борьба пушки со своим канониром, битва материи и разума, бой неодушевленного предмета с человеком.

Человек притаился в углу, держа наготове ганшпуг и конец; прислонившись спиной к тимберсу, прочно стоя на крепких, словно стальных, ногах, смертельно бледный, трагически спокойный, словно вросший в палубу, он ждал.

Он ждал, чтобы пушка пронеслась мимо него.

Канонир знал свою каронаду, и, как казалось ему, она также должна его знать. Долгое время прожил он с нею рядом. Десятки раз вкладывал он руку ей в пасть! Хоть пушка зверь, но зверь ручной.

И он заговорил с нею, словно подзывая собаку: «Иди, иди сюда», — повторял он. Может быть, он даже любил ее.

Казалось, он желал, чтобы она подошла к нему.

Но подойти к нему, значило пойти на него. И тогда ему конец. Как избежать смерти под ее колесами? Вот в чем заключалась вся трудность. Присутствующие, оцепенев от ужаса, не спускали глаз с канонира. Дыхание спирало у каждого в груди, и, быть может, только старик пассажир — мрачный секундант ужасного поединка, — стоя на палубе, дышал ровно, как всегда.

Его тоже могла раздавить пушка. Но он даже не пошевелился.

А под их ногами слепая стихия сама руководила боем.

В ту минуту, когда канонир, решив вступить в грозную рукопашную схватку, бросил вызов своей каронаде, морское волнение случайно затихло, и каронада на миг остановилась, словно в недоуменном раздумье. «Поди ко мне», — говорил ей человек. И пушка будто прислушивалась.

Вдруг она ринулась на человека. Человек отпрянул и избежал удара.

Завязалась борьба. Неслыханная борьба. Хрупкая плоть схватилась с неуязвимым металлом. Человек-укротитель пошел на стального зверя. На

одной стороне была сила, на другой — душа.

Битва происходила в полумраке. Там возникало едва различимое сверхъестественное видение.

Как ни странно, но казалось, что у пушки тоже была своя душа, правда, душа, исполненная ненависти и злобы. Незрячая бронза будто обладала парой глаз. И словно подстерегала человека. Можно было подумать, что у этой махины имелись свои коварные замыслы. Она тоже ждала своего часа. Неведомое доселе огромное чугунное насекомое было наделено сатанинской волей. Временами этот гигантский кузнечик, подпрыгнув, задевал низкий потолок палубы, потом прыдал на все четыре колеса, как тигр после прыжка опускается на все четыре лапы, и кидался в погоню за человеком. А человек, изворотливый, проворный, ловкий, скользил змеей, стараясь избежать удара молнии. Ему удавалось уклониться от опасных встреч, но удары, предназначенные канониру, доставались злосчастному кораблю, и разрушение продолжалось.

За пушкой волочился обрывок порванной цепи. Цепь непонятным образом обмоталась вокруг винта казенной части. Один конец цепи оказался закрепленным на лафете, а другой, свободный конец вращался, как бешеный, вокруг пушки и усиливал ее яростную мощь. Винт держал этот

обрывок плотно зажатым, словно в кулаке, каждый удар тарана-пушки сопровождался ударом бича-цепи; вокруг пушки крутился страшный вихрь, будто железная плеть в медной длани; битва от этого становилась еще опаснее и труднее.

И все же человек упорно боролся. Минутами не пушка нападала на человека, а человек переходил в наступление; он крался вдоль борта, держа в руке брус и конец троса, но пушка словно разгадывала его замысел и, почуяв засаду, ускользала. А человек, ужасный в пылу битвы, бросался за ней следом.

Так не могло длиться вечно. Пушка вдруг точно решила: «Довольно! Пора кончать!» — и остановилась. Зрители поняли, что развязка близится. Каронада застыла на мгновение, как бы в нерешительности, и вдруг приняла жестокое решение, ибо в глазах всех она стала одушевленным существом. Она вдруг бросилась на канонира. Канонир ловко увернулся от удара, пропустил ее мимо себя и, смеясь, крикнул ей вслед: «Не вышло, разиня!» В ярости пушка подбила еще одну из каронад левого борта, затем снова, как пущенная из невидимой пращи, метнулась к правому борту, но человеку вновь удалось избежать опасности. Зато рухнули под ее мощным ударом еще три каронады; потом, слепая, не зная, на что еще решиться, она повернулась и

покатилась назад, подсекла форштевень и пробила борт в носу корвета. Человек, ища защиты, укрылся возле трапа, в нескольких шагах от старика секунданта. Канонир держал наготове ганшпуг. Пушка, очевидно, заметила его маневр и, даже не дав себе труда повернуться, ринулась задом на человека, быстрая, как взмах топора. Человек, прижавшийся к борту, был обречен. Все присутствующие испустили громкий крик.

Но старик пассажир, стоявший до этой минуты, как каменное изваяние, вдруг бросился вперед, опередив соперничающих в быстроте человека и металл. Он схватил тюк с фальшивыми ассигнатами и, пренебрегая опасностью, ловко бросил его между колес каронады. Это движение, которое могло стоить ему жизни, решило исход битвы; даже человек, вполне усвоивший все приемы, которые предписываются Дюрозелем в его книге «Служба при судовых орудиях», и тот не мог бы действовать более точно и умело, чем самый старый пассажир «Клеймора».

Брошенный тюк сыграл роль буфера. Незаметный камешек предотвращает падение глыбы, веточка иной раз задерживает лавину. Каронаду пошатнуло. Тогда канонир в свою очередь воспользовался этой грозной заминкой и всунул железный брус между спицами одного из задних колес. Пушка замерла на месте.

Она накренилась. Действуя брусом, как рычагом, человек налег всей своей тяжестью на свободный конец. Машина тяжело перевернулась, прогудев на прощание, как рухнувший с колокольни колокол, а человек, обливаясь потом, забросил затяжную петлю на глотку поверженной к его ногам бездыханной бронзе.

Все было кончено. Победителем вышел человек. Муравей одолел мастодонта, пигмей полонил громы небесные.

Солдаты и матросы захлопали в ладоши.

Весь экипаж бросился к орудию с тросами и цепями, и в мгновение ока его принайтовили.

Канонир склонился перед пассажиром.

— Сударь, — сказал он, — вы спасли мне жизнь.

Но старик снова замкнулся в своем невозмутимом спокойствии и ничего не ответил.

VI. На чаше весов

Победил человек, но победила и пушка. Правда, непосредственная опасность кораблекрушения миновала, но, однакож, корвет не был окончательно спасен.

Вряд ли представлялось возможным исправить нанесенные повреждения. В борту насчитывалось пять пробоин, при этом самая

большая — в носовой части судна; из тридцати каронад двадцать лежали на лафетах мертвой грудой металла. Да и сама укрошенная и вновь посаженная на цепь пушка тоже вышла из строя: ее подъемный винт был погнут, из-за чего стала невозможной точная наводка. Батарея теперь состояла всего из девяти действующих орудий. В трюм набралась вода. Необходимо было принять срочные меры для спасения корабля и пустить в ход насосы.

Нижняя палуба, доступная теперь для осмотра, являла поистине плачевное зрелище. Взбесившийся слон и тот не мог бы так изломать свою клетку.

Как ни важно было для корвета пройти незамеченным, еще важнее было предотвратить неминуемое крушение. Пришлось осветить палубу, прикрепив фонари к борту.

Когда длилась трагическая борьба, от исхода которой зависела жизнь и смерть экипажа, никто не обращал внимания на то, что творилось в море. Тем временем сгустился туман, погода резко переменилась, ветер свободно играл кораблем; выйдя из-под прикрытия Джерсея и Гернсея, судно отклонилось от курса и оказалось значительно южнее, чем следовало; теперь корвет находился лицом к лицу с разбушевавшейся стихией. Огромные валы лизали зияющие раны корабля, и

как страшна была эта грозная ласка! Баюкающая зыбь таила в себе опасность. Ветер крепчал. Нахмурившийся горизонт сулил шторм, а быть может, и ураган. Взор различал в потемках лишь ближайшие гребни волн.

Пока весь экипаж спешно исправлял наиболее серьезные повреждения на нижней палубе, пока заделывали пробоины, расставляли по местам уцелевшие орудия, старик пассажир поджидал на верхней палубе.

Он стоял неподвижно, прислонившись к грот-мачте.

Погруженный в свои думы, он не замечал движения, начавшегося на судне. Шевалье Ла Вьевиль приказал солдатам морской пехоты выстроиться в две шеренги по обе стороны грот-мачты; услышав свисток боцмана, матросы, рассыпавшиеся по реям, бросили работу и застыли на местах.

Граф дю Буабертло подошел к пассажиру.

Вслед за капитаном шагал какой-то человек в порванной одежде, растерянный, задыхающийся и все же довольный.

То был канонир, который только что и весьма кстати показал себя искусным укротителем чудовищ и одолел взбесившуюся пушку.

Граф отдал старику в крестьянской одежде честь и произнес:

— Господин генерал, вот он.

Канонир стоял по уставу на вытяжку, опустив глаза.

Граф дю Буабертло добавил:

— Генерал, не считаете ли вы, что командиры должны отметить чем-нибудь поступок этого человека?

— Считаю, — сказал старец.

— Соблаговолите отдать соответствующие распоряжения, — продолжал дю Буабертло.

— Командир здесь вы. Ведь вы капитан.

— А вы — генерал, — возразил дю Буабертло.

Старик бросил на канонира быстрый взгляд.

— Подойди сюда, — приказал он.

Канонир сделал шаг вперед.

Старик повернулся к графу дю Буабертло, снял с груди капитана крест Святого Людовика и прикрепил его к куртке канонира.

— Урра! — прокричали матросы.

Солдаты морской пехоты взяли на караул.

Но старый пассажир, указав пальцем на задыхавшегося от счастья канонира, добавил:

— А теперь расстрелять его.

Радостные клики вдруг смолкли, уступив место угрюмому оцепенению.

Тогда среди воцарившейся мертвой тишины старик заговорил громким и отчетливым голосом:

— Из-за небрежности одного человека судну

грозит опасность. Кто знает, удастся ли спасти его от крушения. Быть в открытом море, значит быть лицом к лицу с врагом. Корабль в плавании подобен армии в бою. Буря притаилась, но она всегда рядом. Море — огромная ловушка. И смертной казни заслуживает тот, кто совершил ошибку перед лицом врага. Всякая ошибка непоправима. Мужество достойно вознаграждения, а небрежность достойна кары.

Слова старика падали в тишине медленно и веско, с той неумолимой размеренностью, с которой топор удар за ударом врезается в ствол дуба.

И, властно взглянув на солдат, он добавил:
— Выполняйте приказ.

Человек, на лацкане куртки которого блестел крест Святого Людовика, потупил голову.

По знаку графа дю Буабертло два матроса спустились на нижнюю палубу и принесли оттуда морской саван; корабельный священник, который с момента прибытия на судно не выходил из кают-компании, где он читал молитвы, шел за ними следом; сержант вызвал из рядов двенадцать человек и построил их по шестеро в две шеренги, канонир молча стал между ними. Священник, держа распятие в руке, выступил вперед и подошел к капитану. «Шагом марш», — скомандовал сержант. Взвод медленно двинулся к носу корабля,

два матроса, несшие саван, замыкали шествие.

На корвете наступила гробовая тишина. Слышались только далекие завывания бури.

Через несколько мгновений раздался залп, блеснул во мраке огонь выстрелов, потом все смолкло, и лишь всплеск воды, принявшей в свое лоно труп расстрелянного канонира, нарушил тишину.

Старик пассажир по прежнему стоял в раздумье, прислонясь к грот-мачте и скрестив на груди руки.

Буабертло указал на него пальцем и, обращаясь к Ла Вьевиллю, вполголоса произнес:
— Отныне у Вандеи есть глава.

VII. Поднявший парус бросает жребий

Но какая участь ожидала корвет?

Тучи, уже давно льнувшие к волнам, теперь почти слились с водой и заслонили весь горизонт, окутав море плотной завесой. Куда ни кинешь взгляд — всюду туман. Даже для неповрежденного корабля такое положение чревато опасностями.

К туману присоединилось волнение.

На корвете не теряли зря времени; судно постарались облегчить, выбросив за борт все, что удалось собрать после разгрома, учиненного каронадой, — поврежденные орудия, разбитые

лафеты, смятые или оторванные тимберсы, бесформенные обломки дерева и металла; орудийные порты открыли и, приставив к ним доски, опустили в бушующее море искалеченные трупы, завернутые в парусину.

Море становилось все грознее. Не то чтобы неминуемо должна была разразиться буря; наоборот, казалось, где-то далеко за горизонтом стихает ураган и шквал пронесется севернее; но по прежнему высоко вздымались валы, верный признак неровного дна, и не такому израненному судну, как «Клеймор», было устоять против напора волн; любая могла стать причиной его гибели.

Гакуаль задумчиво стоял у руля.

Бестрепетно смотреть в лицо опасности — таков обычай капитанов.

Ла Вьевиль, человек от природы веселого нрава, подошел к Гакуально.

— Ну что, лоцман, — сказал он, — ураган, как видно, не состоялся. Как ни тужился, чихнуть не смог. Теперь мы выкарабкаемся. Ветер, конечно, будет. Но не более того.

Гакуаль серьезно ответил:

— Где ветер, там и волна.

Ни улыбки, ни тревоги, — таков уж истинный моряк. Однако смысл его слов вселял беспокойство. Судно, давшее течь, боится волны, ибо она может затопить корабль. Как бы желая придать больше

веса своему предсказанию, Гакуаль слегка нахмурил брови. Должно быть, в душе он считал, что после трагического происшествия с пушкой и канониром Ла Вьевиль слишком рано заговорил в таком небрежном, даже легкомысленном тоне. Есть слова, приносящие в плавании беду. У моря свои тайны, и кто знает, что заблагорассудится ему сотворить через минуту.

Ла Вьевиль почувствовал, что надо переменить тон.

— А где мы сейчас, лоцман? — спросил он серьезно.

На что лоцман ответил:

— В руке божией.

Лоцман — хозяин на корабле; надо всегда предоставлять ему свободу действовать, а иногда и свободу говорить. Впрочем, лоцманская братия не многоречива. И Ла Вьевиль счел за благо отойти прочь.

Ла Вьевиль задал вопрос лоцману, а ответ ему дал сам горизонт.

Море вдруг очистилось.

Пелена тумана, цеплявшегося за волны, разодралась, все темное взбаламученное море стало доступно глазу, и вот что увидел экипаж «Клеймора» в предрассветных сумерках.

Небеса прикрыло облачным сводом; но облака теперь не касались поверхности вод, восток

прочертила бледная полоска, предвестница близкой зари, и точно такая же полоска появилась на западе, где заходила луна. И оба эти белесые просвета, блеснувшие друг против друга, узенькими тусклосветящимися ленточками протянулись между нахмурившимся морем и сумрачным небом.

И на фоне этих уже побелевших полосок неба прямо и недвижно вырисовывались черные силуэты.

На западе, освещенном последними лучами луны, вздымались три скалы, похожие на кельтские дольмены.

На востоке, на бледном предрассветном горизонте, виднелись восемь парусных судов, выстроенных в боевом порядке, и в самом их расположении чувствовался грозный умысел.

Три скалы были вершиною рифа, восемь парусов — французской эскадрой.

Итак, позади лежал Менкье, риф, пользующийся у моряков недоброй славой, а впереди ждал французский флот. На западе — морская пучина, на востоке — кровавая резня; кораблекрушение или битва — иного выбора не было.

Для борьбы с рифом корвет располагал лишь продырявленным корпусом, пришедшими в негодность снастями и расшатанными в основании мачтами; для боя в его распоряжении были девять

уцелевших орудий, вместо тридцати прежних, к тому же самые опытные канониры погибли.

Заря чуть брезжила на горизонте, и вокруг корвета по прежнему лежала ночная мгла. Еще не скоро суждено было ей рассеяться, особенно теперь, когда густые тучи поднялись высоко, заполнив все небо и несокрушимо плотным сводом встав над корветом.

Ветер, уносивший вдаль последние клочья тумана, гнал корабль прямо на Менкье.

Потрепанный и полуразрушенный корвет почти не слушался руля, он уже не скользил по поверхности вод, а нырял и, подгоняемый волной, покорно отдавался ее воле.

Менкье — зловещий риф — в те времена представлял собой еще большую опасность, чем в наши дни. Ныне море — неутомимый пыльник — срезало большинство башен этой естественной морской цитадели; очертания скал и сейчас еще меняются, ведь не случайно по-французски слово «волна» имеет второй смысл — «лезвие»; каждый морской прибой равносителен надрезу пилы. В те времена наскочить на Менкье — значило погибнуть.

А восемь кораблей были той самой эскадрой Канкаля, что прославилась впоследствии под командованием капитана Дюшена, которого

Лекинью в шутку окрестил «Отцом Дюшеном». ⁴⁹

Положение становилось критическим. Пока буйствовала сорвавшаяся с цепи каронада, корвет незаметно сбился с курса и шел теперь ближе к Гранвиллю, чем к Сен-Мало. Если даже судно и не потеряло пловучести и могло идти под парусами, скалы Менкье все равно преграждали обратный путь на Джерсей, а вражеская эскадра преграждала путь во Францию.

Впрочем, буря так и не разыгралась. Зато, как и предсказал лоцман, разыгралась волна. Сердитый ветер гнал по морю крупные валы, угрюмо перекатывая их над неровным дном.

Море никогда сразу не выдает человеку своих намерений. Оно способно на все — даже на каверзу. Можно подумать, что ему знакомы иные тайны крючкотворства: оно наступает и отступает, оно щедро на посулы и легко отрекается от них, оно подготавливает шквал и отменяет его, оно заманивает в бездну и не разверзает бездны, оно грозит с севера, а наносит удар с юга. Всю ночь «Клеймор»

⁴⁹ «Отец Дюшен» (иначе «Пэр Дюшен») — название одной из самых популярных демократических газет, издававшихся во время французской революции. Газета выходила с 1790 по 1794 год под редакцией левого якобинца Эбера (всего вышло 385 номеров).

шел в тумане под угрозой урагана; море отказалось от своего первоначального замысла, но отказалось весьма жестоко: посулив бурю, оно преподнесло вместо нее скалы. Оно заменило один способ кораблекрушения другим.

Надо было или погибнуть в бурунах, или пасть в бою. Один враг споспешествовал другому.

Ла Вьевиль вдруг беспечно рассмеялся.

— Здесь кораблекрушение — там бой, — воскликнул он. — С обеих сторон шах и мат.

VIII. 9 = 380

«Клеймор» являл собой лишь жалкое подобие былого корвета.

В мертвенном рассеянном свете встающего дня, в громаде черных туч, в зыбкой дымке, окутавшей горизонт, в таинственном гуле морских валов — во всем была какая-то кладбищенская торжественность. Лишь ветер, злобно завывая, нарушал тишину. Катастрофа вставала из бездны во всем своем величии. Она подымалась в личине призрака, а не с открытым забралом бойца. Ничто не мелькнуло среди рифов, ничто не шелохнулось на кораблях. Всеобъемлющая, всеподавляющая тишина. Неужели все это действительность, а не просто мираж, проносящийся над водами? Казалось, ожили видения старинных легенд и

корвет очутился между демоном-рифом и флотилией-призраком.

Граф дю Буабертло вполголоса отдал необходимые распоряжения Ла Вьевиллю, который немедленно спустился в батарею, а сам капитан взял подзорную трубу и встал рядом с лоцманом.

Все усилия Гакуаля были направлены на то, чтобы идти против волны, ибо, если бы ветер и волны обрушились на судно сбоку, оно неминуемо бы опрокинулось.

— Лоцман, — спросил капитан, — где мы находимся?

— У Менкье.

— А с какой стороны?

— С самой опасной.

— Каково здесь дно?

— Сплошной камень.

— Можно стать на шпринг?

— Умереть всегда можно.

Капитан направил подзорную трубу на запад и оглядел скалы Менкье, потом повернулся к востоку и стал рассматривать видневшиеся на горизонте паруса.

А лоцман продолжал вполголоса, словно говоря сам с собой:

— Вот они, Менкье. Здесь отдыхает и белая чайка, летящая из Голландии, и альбатрос.

Тем временем капитан молча считал паруса.

Восемь кораблей, построенных в боевом порядке, виднелись на востоке, силуэты их грозно рисовались над водой. В центре можно было различить высокий корпус трехпалубного судна.

— Можете узнать отсюда эти корабли? — спросил капитан лоцмана.

— Еще бы не узнать, — ответил Гакуаль.

— Что это там такое?

— Эскадра.

— Французская?

— Чертова!

Воцарилось минутное молчание. Капитан заговорил первым:

— Что же, вся их эскадра здесь?

— Нет, не вся.

Он не ошибся. Второго апреля Валазе⁵⁰ доложил Конвенту, что в водах Ламанша крейсируют десять фрегатов и шесть линейных кораблей. Но капитан только сейчас вспомнил об этом.

— Ваша правда, — сказал он. — Ведь в их эскадре шестнадцать судов. А здесь только восемь.

⁵⁰ *Валазе* Шарль-Элеонор (1751–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист, во время якобинской диктатуры был казнен по приговору Революционного трибунала.

— Все остальные, — заявил Гакуаль, — кружат возле берега и шпионят.

Не отрывая глаз от подзорной трубы, капитан пробормотал:

— Трехпалубный корабль, два фрегата первого ранга, пять второго ранга.

— Но я тоже, — проговорил сквозь зубы Гакуаль, — за ними шпионил.

— Недурные суда, — похвалил капитан. — Я сам командовал такими.

— А я, — заметил Гакуаль, — видел их все, как вас вижу. Как-нибудь одно от другого отличу. С закрытыми глазами узнаю.

Капитан передал подзорную трубу лоцману:

— Лоцман, а вы узнаете это судно, вон то с высокими бортами?

— Как же, капитан. Это «Кот д'Ор».

— Переименовали, значит, — сказал капитан. — Раньше он назывался «Бургундские штаты». Совсем новенькое судно. Сто двадцать восемь орудий.

Он вынул из кармана записную книжку и карандаш и проставил на страничке цифру 128.

— Лоцман, — произнес он затем, — а как называется судно по левую сторону от «Кот д'Ор»?

— Это «Опытный».

— Фрегат первого ранга. Пятьдесят два орудия. Два месяца тому назад его вооружили в

Бресте.

И капитан записал цифру 52.

— Лоцман, — продолжал он, — а второе судно слева?

— «Дриада».

— Фрегат первого ранга. Сорок восемнадцатифунтовых орудий. Ходил раньше в Индию. Славное у него боевое прошлое.

Под цифрой 52 он подписал цифру 40, потом поднял голову и спросил:

— Ну, а направо?

— Там, капитан, фрегаты второго ранга. Всего пять.

— Какое судно идет первым?

— «Решительный».

— Тридцать два восемнадцатифунтовых орудия. А второй?

— «Ришмон».

— То же вооружение. Дальше?

— «Атеист». ⁵¹

— Странное имя! С таким опасно пускаться в плавание. Дальше?

— «Калипсо».

— Дальше?

⁵¹ «Архивы морского министерства». Состояние флота на март месяц 1793 года.

— «Ловец».

— Итого пять фрегатов по тридцать два орудия каждое.

Под прежними цифрами капитан подписал цифру 160.

— Лоцман, — сказал он, — вы действительно узнаете их с первого взгляда.

— А вы, — возразил Гакуаль, — знаете их назубок. Узнать — полдела, вот знать — это поважнее.

Капитан пристально глядел на листок записной книжки и, бормоча что-то про себя, подсчитывал:

— Сто двадцать восемь, пятьдесят два, сорок, сто шестьдесят.

В эту минуту на палубу поднялся Ла Вьевиль.

— Шевалье, — крикнул ему капитан, — против нас триста восемьдесят орудий.

— Превосходно, — ответил Ла Вьевиль.

— Вы осмотрели батарею, — сколько у нас орудий, годных к бою?

— Девять.

— Превосходно! — в тон ему ответил дю Буабертло.

Он взял из рук лоцмана подзорную трубу и стал всматриваться в горизонт.

Казалось, что восемь черных кораблей, откуда не доносилось ни звука, стоят на месте, и все же

они неотвратно увеличивались в размерах.

Эскадра незаметно приближалась к корвету.

Ла Вьевиль отдал честь.

— Капитан, — заговорил он, — разрешите доложить. Я с первой же минуты не доверял нашему «Клеймору». И нет, по-моему, ничего хуже, как внезапно очутиться на судне, к которому ты не привык или которое тебя не любит. Судно английское — значит для нас, французов, предательское. Тому доказательство хотя бы эта чертова каронада. Я все осмотрел. Якори крепкие, металл хороший, без раковин, якорные кольца надежные. Канаты превосходные, отдавать их легко, длина обычная — сто двадцать сажен. Ядер и прочего — достаточно. Шесть канониров убито, на каждую пушку приходится сто семьдесят один выстрел.

— Только потому, что у нас всего девять орудий, — пробормотал капитан.

Он навел подзорную трубу на горизонт. Эскадра по прежнему медленно приближалась.

У каронады есть свои преимущества: она требует всего трех человек прислуги; но у нее есть и недостатки — стреляет она на меньшее расстояние и поражает цель не так метко, как обычная пушка. Следовательно, по необходимости приходилось подпустить вражескую эскадру на расстояние выстрела из каронады.

Капитан вполголоса отдавал приказания. На корвете воцарилась тишина. Боевой тревоги не пробили, но все готовились к бою. Корвет был в такой же мере не пригоден к битве с людьми, как и со стихиями. Однако все, что можно сделать, было сделано, дабы придать боеспособность этой тени военного корабля. Команда собрала у ростр на шкафуте все запасные перлины и кабельтовы, чтобы в случае необходимости укрепить рангоут. Привели в порядок лазарет. По тогдашним морским обычаям на судне устанавливались защитные заслоны, что предохраняло против пуль, но отнюдь не против ядер. Принесли даже прибор для проверки калибра ядер, хотя сейчас уже вряд ли стоило проверять калибровку; но никто не мог предвидеть подобного поворота событий. Каждый матрос получил подсумок и засунул за пояс пару пистолетов и кинжал. Койки были скатаны, пушки наведены, заряжены мушкетоны, разложены по местам топоры и кошки; крьюйт-камера и бомбовый погреб открыты. Люди заняли свои места. Все делалось бесшумно, словно у одра умирающего. Быстро и мрачно.

Корвет поставили на якоря. На «Клейморе», как и на фрегатах, имелось шесть якорей. Их отдали все шесть: становой якорь бросили с носа, стоп-анкер — с кормы, один из больших верпов — со стороны открытого моря, другой — со стороны

бурунов, второй становой якорь — с штирборта, запасной якорь — с бакборта.

Девять уцелевших каронад выстроили в боевом порядке, все девять на одном борту, в сторону врага.

Эскадра тоже бесшумно закончила свой маневр. Восемь судов выстроились полукругом, хорду которого составляли скалы Менкье. «Клеймор», запертый в этом полукольце и к тому же связанный собственными якорями, был почти прижат к скалам, другими словами, прижат к стене.

Так свора гончих насаждает на кабана, не подавая голоса, но уже ощерив страшные зубы.

Казалось, противники выжидали, кто начнет первым.

Канониры «Клеймора» припали к орудиям.

Буабертло повернулся к Ла Вьевиллю.

— Я хотел бы первым открыть огонь, — произнес он.

— Прихоть, достойная кокетки, — ответил Ла Вьевиль.

IX. Некто спасается

Старик пассажир не покидал палубы, невозмутимо наблюдая за всем происходящим.

Буабертло подошел к нему.

— Сударь, все приготовления к бою

закончены, — сказал он. — Мы прикованы к нашей могиле, и пусть попробуют оторвать нас от нее. Мы — пленники вражеской эскадры или рифов. Сдаться врагу или погибнуть в бурунах — другого выбора нет. У нас единственный выход — смерть. Лучше вступить в бой, нежели разбиться об утесы и пойти ко дну. Я предпочитаю картечь пучине; умирать — так в огне, а не в воде. Впрочем, смерть это наше дело, но отнюдь не ваше. На вас пал выбор королевских особ, на вас возложена высокая миссия — возглавить вандейскую войну. Не будет вас, не станет и монархии; следовательно, вы должны жить. Наша честь повелевает нам остаться на судне, а ваша — покинуть судно. Посему, генерал, вам придется немедленно расстаться с корветом. Я дам вам провожатого и шлюпку. Еще не рассвело. Попытайтесь добраться до берега окольным путем. Волна сейчас высокая, на море темно, вам удастся проскользнуть незамеченным. Есть такие положения, когда бегство с поля боя равносильно победе.

Старик утвердительно склонил свое суровое чело.

Граф дю Буабертло возвысил голос.

— Солдаты и матросы! — громко крикнул он.

Все вдруг разом замерло на корабле от палубы до трюма, и все лица повернулись к капитану.

А он продолжал:

— Человек, который находится на борту корвета, — представитель короля. Его жизнь доверили нам, и наш долг спасти его. Он нужен престолу Франции; ввиду отсутствия принца он будет, по крайней мере мы надеемся, что будет, главой Вандеи. Это старый опытный военачальник. Он должен был высадиться на французский берег вместе с нами, теперь он высадится без нас. Спасти голову — значит, спасти все.

— Верно! — троекратно прокричали солдаты и матросы.

— И его тоже подстерегают впереди немалые опасности, — продолжал капитан. — Достичь берега не так-то легко. Для того чтобы пуститься сейчас, во время прилива, в открытое море, нужна большая лодка, но ускользнуть от вражеской эскадры можно лишь на маленькой шлюпке. Следовательно, необходимо достичь берега в каком-нибудь безопасном месте, и желательно ближе к Фужеру, чем к Кутансу. Для этой цели требуется искусный моряк, добрый гребец и добрый пловец, уроженец здешних мест, знающий каждый проливчик. Еще темно, и шлюпка может отвалить от корвета незамеченной. Да и порохового дыму будет достаточно. Благодаря своим малым размерам шлюпка не боится мелководья. Там, где не проберется пантера, пролезет хорек. Для нас с вами нет выхода, для него выход есть. Шлюпка на

веслах может уйти далеко, ее с неприятельских кораблей не заметят, да и мы тем временем постараемся отвлечь внимание врага. Ну как, верно?

— Верно! — снова троекратно прокричали присутствующие.

— Дорога каждая минута, — продолжал капитан. — Есть добровольцы?

Какой-то матрос, неразличимый в полумраке, шагнул вперед из рядов и произнес:

— Есть!

Х. Спасется ли?

Через несколько минут маленькая шлюпка, называемая в матросском обиходе «гичка» и находящаяся в личном распоряжении капитана, отвалила от корабля. В гичке поместились два человека, старик пассажир сидел на руле, а матрос-доброволец на веслах. Ночной мрак еще не рассеялся. Следуя приказу капитана, матрос яростно греб по направлению к скалам Менкье. Иного пути не было.

На дно гички сбросили с борта корвета немного провизии: мешок с галетами, копченый говяжий окорок и бочонок с пресной водой.

В ту самую минуту, когда гичка отошла от корвета, неунывавший даже перед лицом смерти

весельчак Ла Вьевиль перегнулся через ахтерштевень и бросил вслед отъезжающим:

— На такой гичке спастись, конечно, легко, а утонуть и того легче.

— Сударь, — прервал его лоцман, — не время шутить.

Через минуту гичка была уже далеко. Ветер и волна помогали гребцу, и гичка быстро неслась в темноте, временами исчезая между высоких валов.

Над необъятными морскими просторами нависло зловещее ожидание.

Вдруг безгласный ропот океана прорезал чей-то голос, которому почти нечеловеческую силу придавал металлический рупор, — казалось, что сквозь медную маску вещает античный лицедей.

Говорил капитан дю Буабертло.

— Королевские матросы, — возгласил он, — подымите на грот-мачте белый стяг. Сейчас пред нами в последний раз встанет солнце.

И с корвета раздался оглушительный пушечный выстрел.

— Да здравствует король! — закричали матросы.

Тогда из глубин горизонта, словно эхо, раздался другой крик, все покрывающий, отдаленный, неясный, но все же донесший слова:

— Да здравствует Республика!

И грохот, подобный одновременному удару

трехсот громов, раздался над глубинами океана.

Битва началась.

Дым и огонь заволокли море.

Там, где в воду падало ядро, по всему гребню волны вскипали крошечные фонтанчики пены.

«Клеймор» изрыгал пламя, пушки его били по восьми вражеским кораблям.

В то же время эскадра, расположившись полумесяцем вокруг корвета, открыла огонь из всех своих батарей. Небо запылало. Словно расплавленная лава забила из хлябей морских. Ветер яростно свивал и скручивал пурпурное пламя битвы, то открывая, то застилая корабли-призраки. А впереди на фоне багряного неба четко вырисовывался темный остов «Клеймора».

Видно было, как на верхушке грот-мачты полощется по ветру стяг с королевскими лилиями.

Два человека, сидевшие в гичке, молчали.

Треугольное основание рифа Менкье, образующее под водой как бы усеченный конус, занимает большее пространство, чем весь остров Джерсей; море покрывает его, но до края его плоской вершины даже в штормовые дни не доходят волны прибоя. На северо-восток тянется гряда из шести огромных утесов, выстроившихся по прямой линии, — издали они кажутся высокой стеной, обвалившейся в двух-трех местах. Через узенький пролив, отделяющий главную вершину от

шести утесов, можно пробраться только на лодке, да и то имеющей мелкую осадку. По ту сторону пролива снова расстилается морская гладь.

Матрос, которому доверили судьбу гички, направил ее как раз в этот пролив. Таким образом, скалы Менкье защищали беглецов от превратностей боя. Гребец искусно вел гичку через узенький пролив, ловко избегая подводных камней с правого и левого борта. По мере удаления от «Клеймора» все бледнее становились вспышки пламени на горизонте, все глуше доносился бешеный вой орудий; но по упорству взрывов можно было судить, что корвет держится стойко и мужественно и что там твердо решили с толком истратить все сто семьдесят ядер.

Вскоре гичка очутилась в открытом море, вдали от рифов, вдали от боя, вне предела досягаемости ядер.

Мало-помалу поверхность вод посветлела; сверкающие полосы, на которые еще набегала ночная мгла, стали шире, взбаламученная пена весело рассыпалась брызгами, и в первых лучах зари по барашкам волн пробежали беловатые отсветы. Вставал день.

Гичка ушла далеко от врага, но впереди ее поджидала еще более грозная опасность. Она спаслась от картечи, но в любую минуту ее могли поглотить волны. Неприметная скорлупка

пустилась в плавание без парусов, без мачты, без компаса, и вся сила этой молекулы, отдавшей себя на милость двух колоссов — океана и бури, — заключалась лишь в паре весел.

Тогда, среди бескрайних просторов моря, среди окружающего безмолвия, человек, сидевший на веслах, вскинул бледное в предрассветном сумраке лицо и, пристально посмотрев на человека, сидящего на корме, произнес:

— Я брат канонира, которого расстреляли по вашему приказу.

Книга третья. Гальмало

I. Слово есть глагол

Старик медленно поднял голову.

Тому, кто произнес эти слова, было около тридцати лет. На лбу его лежала полоска морского загара; и странен был его взгляд — в простодушных глазах крестьянина светилась проницательность матроса. В мощных руках весла казались двумя перышками. Вид у него был незлобивый.

За матросским поясом виднелся кинжал и пара пистолетов рядом с четками.

— Кто вы? — переспросил старик.

— Я же вам сказал.

— Что вы от меня хотите?

Матрос бросил весла, скрестил на груди руки и ответил:

— Я хочу вас убить.

— Как вам угодно, — бросил старик.

Матрос возвысил голос:

— Готовьтесь.

— К чему готовиться?

— К смерти.

— Почему к смерти? — спросил старик.

Воцарилось молчание. Матрос словно опешил от такого вопроса и ничего не ответил. Потом он промолвил:

— Я же сказал, что хочу вас убить.

— А я спрашиваю, почему?

Глаза матроса метнули молнию.

— Потому что вы убили моего брата.

— Но ведь до этого я спас ему жизнь.

— Верно. Сначала спасли, а потом убили.

— Нет, не я его убил.

— А кто же?

— Его собственная вина.

Матрос, разинув рот, молча смотрел на старика, потом его брови снова грозно нахмурились.

— Как вас зовут? — спросил старик.

— Зовут меня Гальмало, впрочем вам вовсе не обязательно знать имя того, кто вас убьет!

Как раз в эту минуту над горизонтом поднялось солнце. Первый луч упал прямо на лицо матроса, подчеркивая дикарскую выразительность черт. Старик внимательно вглядывался в своего спутника.

Пушки все еще грохотали за рифом; залпы теперь следовали друг за другом в каком-то судорожном беспорядке, рывками, словно в агонии. Клубы дыма заволокли все небо. Гичка, не управляемая ударами весел, неслась по прихоти волн.

Матрос выхватил из-за пояса пистолет и взял в левую руку четки.

Старец поднялся во весь свой рост.

— Ты веришь в бога? — спросил он.

— Отче наш иже еси на небесех, — пробормотал матрос.

И он осенил себя крестным знаменем.

— Есть у тебя мать?

— Есть.

Он снова осенил себя крестным знаменем.

Потом добавил:

— Решено. Даю вам всего одну минуту, ваша светлость.

И он взвел курок.

— Почему ты так меня величаешь?

— Потому что вы сеньор. Это сразу видать.

— А у тебя-то самого есть сеньор?

— Есть. Да еще какой важный. Как же без сеньора жить!

— А где он сейчас?

— Не знаю. Уехал куда-то из наших краев. Звали его маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, принц Бретани; он всем Семилесьем владел. Хоть я его никогда в глаза не видал, а все-таки он мой хозяин.

— Ну, а если бы ты его увидел, повиновался бы ты ему или нет?

— Разумеется. Я ведь не нехристь какой-нибудь, как же не повиноваться. Прежде всего мы должны повиноваться господу богу, потом королю, потому что король вроде бога на земле, потом сеньору, потому что сеньор для нас почти что король. Да все это к делу не относится, вы убили моего брата, значит я должен вас убить.

Старик ответил.

— Я убил твоего брата и тем сделал доброе дело.

Матрос судорожно сжал рукоятку пистолета.

— Готовьтесь! — сказал он.

— Я готов, — ответил старик.

И спокойно добавил:

— А где же священник?

Матрос удивленно поднял на него глаза:

— Священник?

— Да, священник. Я ведь позвал к твоему

брату священника! Стало быть, и ты должен позвать.

— Где же я его возьму? — ответил матрос.

И добавил:

— Да разве в открытом море найдешь священника?

Издали доносились отрывистые отзвуки боя, становившиеся все тише.

— У тех, кто умирает там, есть священник, — произнес старик.

— Что верно, то верно, — пробормотал матрос. — У них есть господин кюре.

Старик спокойно продолжал:

— Вот ты хочешь погубить мою душу, а ведь это грех.

Матрос в раздумье потупил голову.

— И губя мою душу, — добавил старик, — ты тем самым губишь и свою душу. Слушай. Мне жаль тебя. Ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится. А я выполнил свой долг — я спас сначала жизнь твоему брату, потом отнял у него жизнь, и сейчас я выполняю свой долг, стараясь спасти твою душу. Подумай хорошенько. Ведь дело идет о тебе самом. Слышишь выстрелы? Там на корвете в эту минуту гибнут люди, там они стонут в предсмертных муках, там мужья, которые никогда больше не увидят своих жен, там отцы, которые никогда больше не увидят своих детей,

братья, которые, подобно тебе, не увидят своего брата. А по чьей вине? По вине твоего собственного брата. Ты веруешь в бога? Так знай же, что бог скорбит сейчас, бог скорбит о сыне своем христианнейшем короле Франции, который страдает в тюрьме Тампль столь же безвинно, как сын божий Иисус Христос; бог скорбит о своей святой бретонской церкви; бог скорбит о поруганных своих храмах, об уничтоженных священных книгах, об оскверненных домах молитвы; бог скорбит об убиенных пастырях церкви. А мы, что мы делали на том судне, которое борется сейчас с гибелью? Мы старались помочь нашему господу. Если бы брат твой был добрый слуга, если бы он верно нес свою службу, как положено человеку разумному и полезному для нашего общего дела, не произошло бы несчастья с каронадой, корвет не был бы искалечен, не сбился бы с пути, миновал бы эту гибельную эскадру и мы бы сейчас — а ведь нас немало, — мы, доблестные солдаты и доблестные моряки, счастливо высадились бы на французский берег и с мечом в руке, с гордо развевающимся белым стягом, радостно помогали бы отважным вандейским крестьянам спасти Францию, спасти короля, спасти бога. Вот, что мы сделали, вот, что мы могли бы сделать. И вот то, что я, единственно оставшийся в живых, буду делать. Но ты противишься этому. В

борьбе нечестивцев против священников, в борьбе царубийц против короля, в борьбе сатаны против бога ты держишь руку сатаны. Брат твой был первым пособником дьявола, а ты второй его пособник. Он начал черное дело, а ты довершишь начатое. Ты вместе с царубийцами против престола, ты вместе с нечестивцами против церкви. Ты хочешь лишить господа бога последнего его оплота. Ибо, если я, я, представляющий ныне короля, не попаду на французскую землю, не перестанут полыхать в огне хижины, стенать осиротевшие семьи, проливать свою кровь священнослужители, страдать Бретань, король пребудет в узилище, а Иисус Христос в скорби. И кто тому будет виной? Ты. Что ж, действуй, если желаешь. Я надеялся на тебя. Видно, я ошибся. Ах да, правда, я убил твоего брата. Твой брат оказался храбрым, и я наградил его; он оказался виноватым, и я покарал его. Он изменил своему долгу, но я не изменил своему. И, приведись еще раз, я поступил бы точно так же. Клянусь святой Анной Орейской, что смотрит на нас с небес: так же, как я приказал расстрелять твоего брата, я приказал бы расстрелять и своего собственного сына. А теперь ты волен поступать, как знаешь. Да, мне жаль тебя, ты солгал своему командиру. У тебя, христианина, нет веры, у тебя, бретонца, нет чести. Меня передали в руки верного человека, а я оказался в

руках изменника; ты обещал сохранить мне жизнь, а несешь мне смерть. А знаешь ли ты, кого ты губишь? Себя самого. Ты отнимаешь мою бrenную жизнь у короля и вручаешь свою бессмертную душу сатане. Что ж, твори свое черное дело, твори. Недорого же ты ценишь свое место в раю. С твоей помощью победит дьявол, с твоей помощью падут храмы, с твоей помощью безбожники будут по прежнему лить из колоколов пушки, и то, что должно служить спасению души человека, обратится в смертоносное орудие против него. И вот сейчас, в ту самую минуту, когда я с тобой говорю, медь колокола, который благовестил на твоих крестинах, может быть, убила твою родную мать. Что ж, торопись, помогай дьяволу, не медли. Да, я покарал твоего брата, но знай, я лишь орудие в руке божьей. Ого, да ты, как видно, берешься судить пути господни, ты, чего доброго, будешь осуждать и гром, который разит с небес. Он падет на твою голову, несчастный. Но берегись. А знаешь ли ты, что на мне почиет милость божья? Не знаешь? Так действуй. Сверши свой замысел. Что ж! Ты волен ввергнуть меня, да и себя самого в ад. В твоей власти погубить в геенне огненной наши бессмертные души. Но отвечать перед господом будешь ты один. Здесь нет никого, кроме нас с тобой да морской пучины. Что ж, начинай, действуй, рази. Я стар, а ты молод, я без орудия, а

ты вооружен, так убей же меня.

Старик говорил, стоя во весь рост, и голос его покрывал рокот моря; в лад с ударами волны о днище гички высокая фигура попадала то в полосу света, то в полосу тени; матрос побледнел, как мертвец, крупные капли пота струились по его лбу, он дрожал, словно осиновый лист, и время от времени благоговейно подносил к губам свои четки; когда старик замолк, он отбросил в сторону пистолет и упал на колени.

— Смилуйтесь, ваша светлость! простите меня! — вскричал он. — Сам господь бог глаголет вашими устами. Я виновен. И брат мой был виновен. Я все сделаю, лишь бы искупить свою вину. Располагайте мной. Приказывайте. Я ваш слуга.

— Прощаю тебя, — произнес старец.

II. Мужичья память стоит знаний полководца

Провизия, сброшенная с корабля на дно гички, весьма пригодилась.

После вынужденного блуждания по морю беглецам удалось добраться до берега лишь на вторые сутки. Ночь они провели в открытом море; правда, ночь выдалась на славу, пожалуй даже слишком лунная, особенно если требуется проскользнуть незамеченным.

Сначала гичке пришлось отойти от французского берега и держаться открытого моря в направлении острова Джерсей.

Беглецы слышали последний залп разбитого врагами корвета, разнесшийся вокруг, подобно предсмертному рычанию льва, которого настигла в лесной чаще пуля охотника. Затем на море спустилась тишина.

Корвет «Клеймор» принял ту же смерть, что и «Мститель», но слава обошла его. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны.

Гальмало оказался на редкость опытным моряком. Он совершал чудеса ловкости и сообразительности; только вдохновенный мастер мог прочертить утлым челном извилистый и безопасный путь сквозь рифы и валы, под самым носом у неприятеля. Ветер утих, и плавание теперь не представляло больших опасностей.

Гальмало благополучно миновал скалы Менкье, обогнул Бычий Вал и укрылся в бухточке с северной его стороны, чтобы немного передохнуть, потом снова взял курс на юг, пробрался между Гранвилем и островами Шосси, благополучно обошел дозорные посты у Шосси и у Гранвиля. Так он достиг бухты Сен-Мишель, что уже само по себе было весьма дерзким маневром, ввиду близости Канкаля, где стояла на якоре французская эскадра.

К вечеру второго дня, приблизительно через

час после захода солнца, гичка обогнула гору Сен-Мишель и пристала к берегу, куда не ступает нога человека, ибо смельчака подстерегает здесь опасность увязнуть в зыбучих песках.

К счастью, в это время начался прилив.

Гальмало подгрёб как можно ближе к берегу, ощупал веслом песок и, убедившись, что он способен выдержать тяжесть человека, врезался носом гички прямо в берег и выскочил первым.

Вслед за ним вышел старик и внимательно огляделся вокруг.

— Ваша светлость, — сказал Гальмало, — мы с вами находимся в устье реки Куэнон. Вон там по левому борту Бовуар, а по правому — Гюинь. А вон там прямо, видите, колокольню, так это Ардевон.

Старик нагнулся, взял одну галету, сунул ее в карман и приказал Гальмало:

— Остальное возьми себе.

Гальмало положил в мешок остаток окорока и остаток галет и взвалил мешок на плечо. Затем он сказал:

— Ваша светлость, мне вести вас или идти за вами?

— Ни то, ни другое.

Гальмало удивленно уставился на старика.

А тот продолжал:

— Сейчас, Гальмало, нам приходится расставаться. Два человека — это ничто. Тут нужно

идти или с тысячным отрядом, или одному.

Не докончив фразы, старик вытащил из кармана зеленый шелковый бант, напоминавший кокарду, с вышитой посередине золотой лилией.

— Ты читать умеешь? — спросил он.

— Нет.

— Тем лучше. Грамота — лишняя обуза. А память у тебя хорошая?

— Да.

— Вот это отлично. Слушай меня, Гальмало. Ты пойдешь вправо, а я влево; я направлюсь в сторону Фужера, а ты в сторону Базужа. Не бросай мешок, так легче сойдешь за крестьянина. Оружие спрячь. Вырежь себе в кустах палку. Пробирайся через рожь, она нынче высока. Крадись вдоль изгородей. Минуя околицы, иди напрямик полем. Прохожих сторонись. Избегай проезжих дорог и мостов. Не вздумай заходить в Понторсон. Ах да, путь тебе преграждает река Куэнон. Как ты через нее переберешься?

— Вплавь.

— Отлично. Впрочем, ее можно перейти и вброд. Знаешь, где брод?

— Между Ансе и Вьевилем.

— Отлично. Теперь я вижу, что ты действительно местный уроженец.

— Но ведь ночь на дворе. Где же вы будете ночевать, ваша светлость?

— Обо мне не беспокойся. А вот ты где думаешь переночевать?

— Где-нибудь на мху. Ведь до матросской службы я был крестьянином.

— Да, кстати, выбрось матросскую шапку, а то тебя по ней опознают. А крестьянский головной убор ты легко найдешь.

— Ну за этим дело не станет. Любой рыбак с охотой продаст мне свою шапку.

— Отлично. А теперь слушай. Ты здешние места знаешь?

— Все до единого.

— По всей округе знаешь?

— От Нуармутье до самого Лавалья.

— А как они называются, тоже знаешь?

— И леса знаю, и как они называются, знаю, все знаю.

— И все запомнишь, что я тебе скажу?

— Запомню.

— Отлично. А теперь слушай внимательно. Сколько лье ты можешь пройти за день?

— Ну десять, пятнадцать, восемнадцать. А если понадобится — и все двадцать.

— Может понадобится. Запомни каждое мое слово. Пойдешь отсюда прямо в Сент-Обэнский лес.

— Тот, что рядом с Ламбалем?⁵²

— Да. На краю оврага, который идет между Сен-Риэлем и Пледелиаком, растет высокий каштан. Там ты и остановишься. И никого не увидишь.

— А все равно там кто-нибудь да есть. Знаю, знаю.

— Ты подашь сигнал. Умеешь подавать сигналы?

Гальмало надул щеки, повернулся лицом к морю и несколько раз ухнул по-совиному.

Казалось, что звук идет из самой ночной мглы. Неотличимо похожее и зловещее ухание.

— Отлично, — произнес старик. — Молодец.

И он протянул Гальмало зеленый шелковый бант.

— Вот моя кокарда. Возьми ее. Неважно, что имени моего здесь никто не знает. Вполне достаточно этой кокарды. Смотри, вот эту лилию вышивала в тюрьме Тампль сама королева.

Гальмало преклонил колена. С священным

⁵² *Ламбаль* Мария-Терезия-Луиза, принцесса, де (1749–1792) — родственница французской королевской семьи, приближенная королевы Марии-Антуанетты; после свержения монархии была арестована за участие в контрреволюционных заговорах и связь с иностранными дворами и казнена.

трепетом он принял из рук старца вышитую кокарду и приблизил ее было к губам, но тут же отдернул руку, убоявшись такого святотатства.

— Смею ли я? — спросил он.

— Конечно, ведь целуешь же ты распятие!

Гальмало коснулся губами золотой лилии.

— Встань, — приказал старик.

Гальмало встал с колен и засунул бант за пазуху.

А старик продолжал:

— Слушай меня хорошенько. Запомни пароль: «Подымайтесь. Будьте беспощадны». Итак, добравшись до каштана, что на краю оврага, подашь сигнал. Трижды подашь. На третий раз из-под земли выйдет человек.

— Из ямы, что под корнями. Знаю.

— Человек этот некто Планшено, его прозвали также «Королевское Сердце». Покажешь ему кокарду. Он все поймет. Затем пойдешь в Астиллейский лес по любой дороге, которая тебе приглянется; там ты встретишь колченогого человека, который зовется Мускетон и не дает спуску никому. Скажи ему, что я его помню и люблю и что пора ему подымать все окрестные приходы. Оттуда иди в Куэсбонский лес, он всего в одном лье от Плэрмея. Там прокричишь по-совиному, из берлоги выйдет человек, это господин Тюо, сенешал Плэрмея, бывший член так

называемого Учредительного собрания, но придерживается он наших убеждений. Скажешь ему, что пора подготовить к штурму замок Куэсбон, который принадлежит маркизу Гюэ, ныне эмигрировавшему. Местность там пересеченная, овраги, перелески — словом, самая для нас подходящая. Господин Тюо — человек решительный и умный. Оттуда пойдешь в Сент-Уэн-ле-Туа и поговоришь с Жаном Шуаном, который, по моему мнению, подлинный вождь. Оттуда пойдешь в Виль-Англозский лес, увидишь там Гитте, его зовут также Святитель Мартен, и скажешь ему, чтобы он зорко следил за неким Курменилем, зятем старика Гупиль де Префельна,⁵³ который возглавляет в Аржентане якобинскую секцию. Запомни все хорошенько. Я ничего не записываю, потому что писать ничего нельзя. Ларуари написал несколько строк, и это его погубило. Оттуда ты пойдешь в Ружфейский лес, где встретишь Миэлета, он умеет прыгать через овраги, опираясь на длинный шест.

— У нас такой шест зовется жердиной.

⁵³ *Гупиль де Префельн* (умер в 1801 г.) — французский политический деятель, депутат Генеральных Штатов, умеренный либерал. В 1795 году был избран членом Совета старейшин, позже был его председателем.

— Ты тоже умеешь ею пользоваться?

— Еще бы, неужто я не бретонец, неужто я не крестьянин? Да у нас жердь первый друг, с нею и руки крепче и ноги длиннее.

— Другими словами, с нею враг слабее и расстояние короче. Хорошая штука.

— Раз как-то я со своей жердиной отбился от трех жандармов, а у них были сабли.

— Когда же это?

— Лет десять тому назад.

— При короле?

— Ну да.

— Значит, ты сражался еще при короле?

— Ну да.

— Против кого сражался?

— Хоть убей, не знаю. Я соль тайком привозил.

— Отлично.

— У нас это называлось бороться против соляных налогов. Да разве соляные налоги и король одно и то же?

— Да. Нет. Впрочем, тебе это знать необязательно.

— Прошу прощения, что осмелился задать вашей светлости вопрос!

— Хорошо, слушай дальше. Ты знаешь Ла Тург?

— Это я-то? Да я сам оттуда.

— Как так?

— Да так, я ведь родом из Паринье.

— Правильно, Тург рядом с Паринье.

— Знаю ли я Тург — да это же родовой замок моих господ, большой такой, с круглой башней. Старое здание от нового отделено крепкой железной дверью, ее и пушкой не прошибешь. В новом замке хранится книга про святого Варфоломея, многие нарочно приезжали в Тург поглядеть эту книжку. А лягушек там вокруг — пропасть. Сколько я их мальчишкой переловил. И подземный ход там тоже есть. Может, кроме меня, никто этого хода и не знает.

— Какой подземный ход? О чем это ты? Ничего не понимаю.

— Старинный ход, его еще в те времена прорыли, когда враг осадил Тург. Те, что сидели в замке, спаслись только потому, что прошли подземным ходом, а ход выводит прямо в лес.

— Такой подземный ход есть в замке Жюпельер, это верно, есть ход в замке Юнодэй и в Кампеонской башне тоже, но в Турге никакого хода нет.

— Да есть, ваша светлость, есть. Вот о тех ходах, что вы сейчас говорили, никогда не слыхивал. Знаю только один ход — в Турге, потому что я сам из тех краев. Кроме меня, об этом ходе ни одна живая душа не знает. Да никто о нем никогда

и не заикался. Запрещено было, потому что этим ходом пользовались во времена войн, которые вел господин Роган. Мой отец знал про этот ход и мне показывал. И я знаю, как войти и как выйти. Из лесу я могу попасть прямо в башню, а из башни прямо в лес. И никто меня не увидит. Враг ворвется, а там пусто. Вот он какой наш Тург. Я-то его хорошо знаю.

Старик стоял в раздумье.

— Да нет, ты, должно быть, ошибаешься, будь в Турге такой ход, мне было бы это известно.

— Уж поверьте совести, ваша светлость. Там еще камень такой есть, который поворачивается.

— Так бы и сказал! Ведь вы, мужики, во что только не верите; у вас и камни вращаются, да еще поют, и ночью на водопой к ручью ходят. Словом, басни и басни.

— Да я сам видел, как этот камень поворачивается.

— А другие сами слышали, как камни поют. Слушай, приятель, Тург — хорошая, надежная крепость и защищать ее легко; но тот, кто станет рассчитывать на ваши подземные ходы, тот жестоко просчитается.

— Да как же, ваша светлость...

Старик нетерпеливо пожал плечами.

— Не будем терять зря времени. Поговорим о делах.

Слова эти были произнесены столь решительным тоном, что Гальмало перестал настаивать на существовании подземного хода.

А старик продолжал:

— Итак, слушай дальше. Из Ружфе пойдешь в лес Моншеврие, где верховодит Бенедиктус, командир Двенадцати. Он тоже славный малый. Читает «*Venedicite*», пока по его приказу расстреливают людей. На войне не до сентиментов. Из Моншеврие пойдешь...

Он не закончил фразы.

— Да, я забыл о деньгах.

Старик вынул из кармана кошелек и бумажник и протянул их Гальмало.

— В этом бумажнике тридцать тысяч франков в ассигнатах, что составляет приблизительно три ливра десять су; надо сказать, ассигнаты; ⁵⁴ фальшивые, впрочем и настоящие стоят не дороже; а в кошельке — смотри хорошенько — сто золотых. Отдаю тебе все, что у меня есть. Мне ничего не нужно. Впрочем, это и к лучшему, по крайней мере при мне не найдут денег. Продолжаю: из Моншеврие пойдешь в Антрэн и встретишься там с

⁵⁴ *Ассигнаты* — бумажные деньги, выпускавшиеся во время французской революции и быстро падавшие в цене вследствие спекуляции и нехватки товаров.

господином Фротте⁵⁵ из Антрэна иди в Жюпельер, где увидишься с господином Рошкоттом; ⁵⁶ из Жюпельера отправляйся в Нуарье, где повидаетшь аббата Бодуэна. Запомнил?

— Как «Отче наш».

— Встретишься с господином Дюбуа-Ги⁵⁷ в Сен-Брикан-Коле, с господином Тюрпэном ⁵⁸ в Моранне, — Моранн это укрепленный городок, — а в Шато-Гонтье отыщешь принца Гальмона.

— Неужели принц станет со мной говорить?

— Я же с тобой говорю.

Гальмало почтительно обнажил голову.

— Тебе повсюду обеспечен хороший прием,

⁵⁵ *Фротте* Луи, граф, де (1755–1800) — французский помещик-монархист, один из главных вожаков контрреволюционных мятежников в Нормандии в конце XVIII века; был взят в плен, предан суду и расстрелян.

⁵⁶ *Рошкотт* Фортюне-Гюйом, граф, де (1769–1798) — французский помещик-монархист, командовал одним из отрядов вандейских мятежников; был арестован, предан суду и казнен.

⁵⁷ *Дюбуа-Ги* — один из вожаков вандейских мятежников.

⁵⁸ *Тюрпэн* — один из вожаков вандейских мятежников.

раз у тебя лилия, вышитая руками самой королевы. Не забудь еще вот что: выбирай такие места, где живут горцы и мужики потемней. Переоденься. Это нетрудно. Республиканцы — болваны: в синем мундире и треуголке с трехцветной кокардой можно пройти повсюду беспрепятственно. Сейчас нет ни полков, ни единой формы; армии и те не имеют номеров, каждый надевает на себя любое тряпье, по своему вкусу. Непременно побывай в Сен-Мерве. Там повидайся с Голье, или, как его называют иначе, с Пьером Большим. Пойдешь в лагерь Парне, где тебе придется иметь дело с черномазыми. Дело в том, что они кладут в ружье двойную порцию пороха да еще добавляют песку, чтобы выстрел был погромче; что ж, молодцы. Скажешь им одно: убивать, убивать и убивать. Пойдешь в лагерь «Черная Корова», который расположен на возвышенности посреди Шарнийского леса, потом в «Овсяный лагерь», потом в «Зеленый», а оттуда в «Муравейник». Пойдешь в Гран-Бордаж, который иначе зовется О-де-Пре, там живет вдова, на дочери которой женился некто Третон, прозванный «Англичанином». Гран-Бордаж — один из приходов Келена. Непременно загляни к Эпине-ле-Шеврейль, Силле-ле-Гильом, к Парану и ко всем тем, что прячутся по лесам. Словом, друзей ты заведешь немало и пошлешь их к границе

Верхнего и Нижнего Мэна; ты встретишься с Жаном Третеном в приходе Вэж, с Беспечальным — в Биньоне, с Шамбором — в Бошампе, с братьями Корбэн — в Мэзонселле и с Бесстрашным Малышом — в Сен-Жан-сюр-Эрв. Иначе его зовут Бурдуазо. Прodelав все это, пройдя повсюду с лозунгом: «Подымайтесь, будьте беспощадны», ты присоединишься к великой армии, армии католической и королевской, где бы она ни находилась. Ты увидишься с господами д'Эльбе, Лескюром, Ларошжакленом, словом, со всеми вождями, которые еще будут живы к тому времени. Предъявляй им мою кокарду. Они сразу поймут, в чем дело. Ты простой матрос, но ведь и Катлино тоже простой ломовик. Скажешь им от моего имени следующее: «Пришел час вести разом две войны: войну большую и войну малую. От большой войны большой шум, от малой большие хлопоты. Вандейская война — хороша, шуанская хуже, но в годину гражданских междуусобиц худшее подчас становится лучшим. Война тем лучше, чем больше зла она причиняет».

Старик помолчал немного.

— Я не зря тебе все это говорю, Гальмало. Пусть ты не поймешь моих слов, зато поймешь суть дела. Я поверил в тебя, когда ты так искусно вел гичку; геометрии ты не знаешь, зато умеешь отгадывать капризы моря и пользоваться ими, а кто

умеет править лодкой, тот сумеет направлять мятеж; и уж по одному тому, как ты ловко управлялся в море, обходя все его ловушки, я понял, что ты отлично справишься с моими поручениями. Продолжаю. Всем вандейским вождям ты передашь вот что, конечно, не этими самыми словами, а как сумеешь, и то слава богу: я отдаю все преимущества войне лесной перед войной в открытом поле; я вовсе не намерен подставлять стотысячную крестьянскую армию под картечь и пушки господина Карно;⁵⁹ через месяц, а то и раньше, мне необходимо иметь пятьсот тысяч надежных убийц, залегших в лесной чаще. Республиканская армия — это моя дичь. Браконьерствовать — значит воевать. Я — стратег лесных зарослей. Опять трудное слово, неважно, если ты его и не поймешь, улови хотя бы смысл: действовать беспощадно, и засады, повсюду и везде засады! Я хочу, чтобы дрались по-шуански, а не

⁵⁹ *Карно* Лазар (1753–1823) — видный деятель французской революции XVIII века; член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения. Проявил огромную активность в деле обороны революционной Франции от войск интервентов (современники прозвали его «организатором победы»). В 1815 году после второй реставрации Бурбонов он был изгнан из Франции; умер в Магдебурге (в Пруссии).

по-вандейски. Добавишь еще, что англичане с нами. Зажмем республику меж двух огней. Европа нам помогает. Покончим с революцией. Короли ведут с ней войну королей, а мы поведем с ней войну прихожан. Скажи им это. Понял ты меня?

— Понял. Все надо предать огню и мечу.

— Совершенно верно.

— Не щадить.

— Никого. Совершенно верно.

— Всех обойду.

— Только будь осторожен. Ибо в этом краю не так-то уж трудно стать мертвецом.

— А что мне смерть? Тот, кто делает свой первый шаг, уже снашивает свои последние башмаки.

— Ты храбрый малый.

— А если меня спросят, как вас звать, ваша светлость?

— Пока еще никто не должен знать моего имени. Скажешь, что не знаешь, и не солжешь.

— А где я увижусь с вами, ваша светлость?

— Там, где я буду.

— А как я узнаю?

— Все узнают, и ты тоже. Через неделю повсюду заговорят обо мне, я первый подам вам всем пример, я отомщу за короля и нашу веру, и ты догадаешься, что говорят обо мне.

— Понимаю.

— Смотри не забудь ничего.

— Будьте спокойны.

— Ну, а теперь в путь. Да хранит тебя бог.

Иди.

— Я сделаю все, что вы мне приказали. Я пойду. Я скажу. Не выйду из повиновения. Передам приказ.

— Отлично.

— И если все мне удастся...

— Я награжу тебя орденом Святого Людовика.

— Как моего брата. Ну, а если мне не удастся, вы прикажете меня расстрелять?

— Как твоего брата.

— Хорошо, ваша светлость.

Старец уронил голову на грудь и вновь ушел в свои суровые думы. Когда он вскинул глаза, никого уже не было. Лишь вдалеке смутно виднелась какая-то черная точка.

Солнце только что скрылось.

Чайки и альбатросы возвращались на берег: как-никак море — не родное гнездо.

В воздухе была разлита смутная тревога, предвестница наступающей ночи; лягушки пронзительно квакали, кулички со свистом взлетали с мочезин, чайки, чирки, грачи, скворцы подняли обычный вечерний гомон, звонко перекликались болотные птицы, только человеческий голос не

участвовал в этом хоре природы. Полное безлюдие! Ни паруса в море, ни крестьянина в поле. Куда ни кинешь взор, всюду пустынные просторы. Огромные чертополохи мерно вздрагивали под порывами ветра. Бесцветное сумеречное небо заливало всю землю мертвенным светом. Озерца, разбросанные по темной равнине, издали казались аккуратно разложенными оловянными монетками. С моря дул ветер.

III. С вершины дюны

Старик подождал, пока вдали исчезнет фигура Гальмало, затем плотнее закутался в матросский плащ и двинулся в путь. Шагал он медленно, задумчиво. Он направлялся в сторону Гюина, а Гальмало тем временем пробирался к Бовуару.

Позади возвышалась огромным черным треугольником знаменитая гора Сен-Мишель, Хеопсова пирамида пустыни, именуемой океаном. У горы Сен-Мишель есть своя тиара — собор и своя броня — крепость с двумя высокими башнями — круглой и квадратной, — которая принимает на себя тяжесть каменных церковных стен и деревенских домов.

В бухточке, лежащей у подошвы Сен-Мишеля, идет непрерывное движение зыбучих песков, то и дело вырастают и рассыпаются дюны.

В ту пору между Гюином и Ардевоном особенно славилась высокая дюна, исчезнувшая ныне с лица земли. Дюна эта, которую как-то в дни равноденствия до основания смыли волны, насчитывала, — что редкость для дюн, — не один век, и на вершине ее красовался каменный верстовой столб, воздвигнутый еще в XII веке в память собора, осудившего в Авранше убийц святого Фомы Кентерберийского. Отсюда открывалась как на ладони вся округа, что позволяло без труда ориентироваться в местности.

Старик направился к дюне и стал взбираться на вершину.

Достигнув цели, он присел на одну из четырех каменных тумб, стоявших по углам верстового столба, прислонился к столбу и стал внимательно изучать географическую карту, разостланную у его ног самой природой. Казалось, он силится припомнить дорогу среди некогда знакомых мест. В беспредельно огромной панораме, уже затянутой сумерками, ясно вырисовывалась только линия горизонта, черная линия на бледном фоне неба.

Отчетливо были видны сбившиеся в кучу крыши одиннадцати селений и деревень; врезали в небо свои шпили далекие колокольни, которые здесь, как и во всех прибрежных селениях, с умыслом строили значительно выше обычного: плавающие могли по ним, как по маяку, определять

курс судна.

Через несколько минут старик, очевидно, обнаружил то, что искал в полумраке: он не отрывал теперь взора от купы деревьев, осенявших крыши и ограду мызы, затерявшейся среди перелесков и лугов; он удовлетворенно качнул головой, будто подтверждая верность своей догадки: «Ага, вот оно!» — и, вытянув указательный палец, прочертил в воздухе извилистую линию — кратчайший путь между живых изгородей и нив. Время от времени он пристально вглядывался в какой-то бесформенный и неразличимый предмет, раскачивавшийся над крышей самого крупного строения мызы, и словно мысленно пытался разрешить загадку — что это такое? Однако темнота скрадывала очертания и цвет загадочного предмета; флюгером это быть не могло, хотя и вертелось во все стороны, а флаг водружать здесь было незачем.

Старик долго не вставал с тумбы, отдаваясь тому смутному полузабытью, которое в первую минуту охватывает утомленного путника, присевшего отдохнуть.

Есть в сутках час, который справедливо зовут часом безмолвия — безмятежный час, час предвечерний. И этот час наступил. Путник вкушал блаженство этого часа, он вглядывался, он вслушивался — вслушивался в тишину. Даже на

самых жестоких людей находит своя минута меланхолии. Вдруг эту тишину не то, чтобы нарушили, а еще резче подчеркнули близкие голоса. Два женских голоса и детский голосок. Так иногда в ночную мглу неожиданно ворвется веселый перезвон колоколов. Густой кустарник скрывал говоривших, но ясно было, что они пробираются у самого подножия дюны, в сторону равнины и леса. Свежие и чистые голоса легко доходили до погруженного в свои думы старца и звучали так явственно, что можно было слышать каждое слово.

Женский голос произнес:

— Поторопитесь, Флешардша. Сюда, что ли, идти?

— Нет, сюда.

И два голоса, один поглубже, другой помягче, продолжали беседу.

— Как зовется та ферма, где мы сейчас стоим?

— «Соломинка».

— А это далеко?

— Минут пятнадцать, не меньше.

— Пойдемте быстрее, тогда, может, и поспеем к ужину.

— Верно. Мы сильно запоздали.

— Бегом бы поспели. Да малышей, гляди, совсем разморило. Куда же нам двоим на себе трех ребят тащить. И так вы, Флешардша, ее с рук не

спускаете. А она прямо как свинец. Отняли ее, обжору, от груди, а с рук она у вас все равно не слезает. Привыкнет, сами будете жалеть. Пускай сама ходит. Ну ладно, и холодного супа похлебаем.

— А какие вы мне башмаки хорошие подарили. Совсем впору, словно по заказу сделаны.

— Какие ни на есть, а все лучше, чем босиком шлепать.

— Прибавь шагу, Рене-Жан.

— Из-за него-то мы и опоздали. Ни одной девицы в деревне не пропустит, с каждой ему, видите ли, надо поговорить. Настоящий мужчина растет.

— А как же иначе? Ведь пятый годок пошел.

— Отвечай-ка, Рене-Жан, почему ты разговорился с той девчонкой в деревне, а?

Детский, вернее мальчишеский, голосок ответил:

— Потому что я ее знаю.

Женский голос подхватил:

— Господи боже мой, да откуда же ты ее знаешь?

— А как же не знать, — удивленно произнес мальчик, — ведь она мне утром разных зверушек дала.

— Ну и парень, — воскликнула женщина, — трех дней нет, как сюда прибыли, а этот клоп уже завел себе милую!

Голоса затихли вдали. Все смолкло.

IV. Aures habet et non audiet⁶⁰

Старик не пошевелился. Он не думал ни о чем, вряд ли даже мечтал. Вокруг него разливался вечерний покой: все дышало доверчивой дремой, одиночеством. На вершине дюны еще лежали последние лучи догоравшего дня, равнину окутывал полумрак, а в лесах уже сгустилась ночная тень. На востоке медленно восходила луна. Сияние первых звезд пробивалось сквозь бледноголубое в зените небо. И старик, весь поглощенный мыслью о будущих жестоких трудах, как бы растворялся душою в невыразимой благодати бесконечного. Пока это было лишь неясное просветление, схожее с надеждой, если только можно применить слово «надежда» к чаяниям гражданской войны. Порой ему казалось, что, счастливо избегнув козней неумолимого моря и ступив на твердую землю, он миновал все опасности. Никто не знает его имени, он один, вдалеке от врагов, он не оставил после себя следа, ибо морская гладь стирает все следы, и здесь он надежно скрыт, никому неведом, никто не

⁶⁰ Имеет уши, но не услышит (лат.)

подозревает об его присутствии. Его охватило блаженное умиротворение. Еще минута, и он бы спокойно уснул.

Глубокое безмолвие, царившее на земле и в небе, придавало незабываемую прелесть этим мирным мгновениям, случайно выпавшим на долю человека, над головой и в душе которого пронеслось столько бурь.

Слышен был только вой ветра с моря, но ветер, этот неумолчно рокочущий бас, став привычным, почти перестает быть звуком.

Вдруг старик вскочил на ноги.

Что-то внезапно привлекло его внимание; он впился глазами в горизонт. Его взгляд сразу приобрел сверхъестественную зоркость.

Теперь он глядел на колокольню Кормере, которая стояла в долине прямо напротив дюны. Там действительно творилось что-то странное.

На фоне неба четко вырисовывался силуэт колокольни, с дюны ясно была видна башня с островерхой крышей и расположенная между башней и крышей квадратная, без навесов, сквозная звонница, открытая, по бретонскому обычаю, со всех четырех сторон.

Отсюда, с дюны, казалось, что звонница то открывается, то закрывается: через ровные промежутки времени ее просветы то обозначались белыми квадратами, то заполнялись тьмою; сквозь

них то виднелось, то переставало виднеться небо; свет сменялся чернотой, будто его заслоняли гигантской ладонью, а потом отводили ее с размеренностью молота, бьющего по наковальне.

Колокольня Кормере, стоявшая против дюны, находилась на расстоянии приблизительно двух лье; старик посмотрел направо, на колокольню Баге-Пикан, приютившуюся в правом углу панорамы; звонница и этой колокольни так же равномерно светлела и темнела.

Он посмотрел налево, на колокольню Танис, и ее звонница мерно открывалась и закрывалась, как на колокольне Баге-Пикан.

Старик постепенно, одну за другой, оглядел все колокольни, видимые в округе: по левую руку — колокольни Куртиля, Пресэ, Кроллона и Круа-Авраншена; по правую руку — колокольни Ра-сюр-Куэнон, Мордре, Депа; прямо — колокольню Понторсона. Звонницы всех колоколен последовательно то становились прозрачными, то заполнялись чернотой.

Что это могло означать?

Это означало, что звонили на всех колокольнях, звонили во все колокола.

Просветы потому и появлялись и исчезали, что кто-то яростно раскачивал колокола.

Что же это могло быть? по видимому, набат.

Да, набат, неистовый набатный звон повсюду,

со всех колоколен, во всех приходах, во всех деревнях. И ничего не было слышно.

Объяснялось это дальностью расстояния, скрадывавшего звук, а также и тем, что ветер дул сейчас с противоположной стороны и уносил все шумы земли куда-то вдаль, к самой линии горизонта.

Зловещая минута — круговой, бешеный трезвон колоколов и ничем не нарушаемая тишина.

Старик смотрел и слушал.

Он не слышал набата, он видел его. Странное чувство — видеть набат.

На кого же так прогневались колокола?

О чем предупреждал набат?

V. Когда бывает полезен крупный шрифт

Кого-то выслеживали.

Но кого?

Трепет охватил этого поистине железного старца.

Нет, конечно, не его. Никто не мог догадаться о его прибытии сюда. И нелепо даже предполагать, что уже успели известить представителей Конвента; ведь он только что ступил на сушу. Корвет пошел ко дну раньше, чем кто-нибудь успел спастись. Да и на самом корвете только дю Буабертло и Ла Вьевиль знали его подлинное имя.

А колокола надрывались в яростном перезвоне. Он снова оглядел все колокольни и даже машинально пересчитал их, не в силах ни на чем сосредоточить мысль, отбрасывая одну догадку за другой, в том состоянии смятения чувств, когда глубочайшая уверенность вдруг сменяется пугающей неизвестностью. Но ведь бить в набат можно по разным причинам, и старик мало-помалу успокоился, твердя вполголоса: «В конце концов никто не знает о моем прибытии, никто не знает моего имени».

Вот уже несколько минут откуда-то сверху доносился легкий шорох. Словно на потревоженном ветром дереве зашуршал лист. Сначала старик даже не поглядел в ту сторону, но так как шорох не смолкал, а будто нарочно старался привлечь к себе внимание, он обернулся. Действительно, это был лист, но только лист бумаги. Ветер пытался сорвать с дорожного столба большое объявление. По всей видимости, его приклеили лишь недавно, так как бумага еще не успела просохнуть, и ветер, играя, отогнул ее край.

Старик подымался на дюну с противоположной стороны и поэтому раньше не заметил объявления.

Он влез на тумбу, где только что спокойно отдыхал, и прихлопнул ладонью угол объявления, которое отдувало ветром. Июньские сумерки не

сразу сменяет ночная мгла, и по-вечернему светлое небо лило свой бледный свет на вершину дюны, подножье которой уже окутала ночь; почти весь текст объявления был набран крупным шрифтом, еще различимым в наступивших потемках. Старик прочел следующее:

*«Французская республика,
единая и неделимая.*

Мы, Призер из Марны, представитель народа, в качестве комиссара при береговой Шербургской республиканской армии, приказываем: бывшего маркиза де Лантенака, виконта де Фонтенэ, именующего себя бретонским принцем, высадившегося тайком на землю Франции близ Гранвиля, объявить вне закона. Голова его оценена. Доставивший его мертвым или живым получит шестьдесят тысяч ливров. Названная сумма выплачивается не в ассигнатах, а в золоте. Один из батальонов Шербургской береговой армии незамедлительно отрядить на поимку бывшего маркиза де Лантенака. Предлагаем сельским общинам оказывать войскам всяческое содействие. Дано в Гранвиле 2 сего

*июня 1793 года. Подписано
Приер из Марны».*

Ниже этого имени стояла вторая подпись, набранная мелким шрифтом, и разобрать ее при угасающем свете дня не представлялось возможным.

Старик нахлобучил на глаза шляпу, закутался до самого подбородка в матросский плащ и поспешно спустился вниз. Мешкать здесь на освещенной вершине дюны было более чем бесполезно.

Возможно, он и так уж слишком задержался, ведь верхний склон дюны был последней светлой точкой во всем пейзаже.

Внизу темнота сразу поглотила путника, и он зашагал медленнее.

Он направился в сторону фермы, следуя намеченному еще на дюне маршруту, который он, очевидно, считал наиболее безопасным.

На пути он не встретил никого. В этот час люди предпочитают сидеть по домам.

Войдя в густую заросль кустарника, старик остановился, снял плащ, вывернул куртку мехом вверх, снова накинул плащ, только подвязал его теперь у шеи веревочкой, отчего тот сразу приобрел нищенский вид, и снова зашагал вперед.

Светила луна.

Старик дошел до перекрестка двух дорог, где стоял древний каменный крест. У подножья креста смутно виднелся какой-то белый квадрат — судя по виду, все то же объявление, которое он только что прочел. Старик подошел поближе.

— Куда вы идете? — раздался вдруг вопрос.

Старик обернулся.

По ту сторону зеленой изгороди стоял человек; ростом он был не ниже старика, годами не моложе его, волосом так же сед, только, пожалуй, рубище у пришельца было чуть поновее. Почти двойник.

Подпирался он длинной палкой.

— Я вас спрашиваю, куда вы идете? — продолжал незнакомец.

— Скажите прежде, где я нахожусь, — ответил старик спокойно, почти высокомерно.

Незнакомец ответил:

— Находитесь вы в сеньории Танис, я здешний нищий, а вы здешний сеньор.

— Я?

— Да, вы, маркиз де Лантенак.

VI. Нищеврод

Маркиз де Лантенак, впредь мы так и будем его именовать, сурово вымолвил:

— Что ж! Идите и сообщите обо мне.

Но незнакомец продолжал:

— Мы тут с вами оба дома, вы у себя в замке, я у себя в лесу.

— Довольно. Идите. Сообщите обо мне, — повторил маркиз.

Незнакомец спросил:

— Вы, я вижу, держите путь на ферму «Соломинка». Так?

— Да.

— Не советую туда ходить.

— Почему?

— Потому что там синие.

— Сколько дней?

— Уже три дня.

— Жители фермы оказали им сопротивление?

— Какое там. Отперли перед ними все двери.

— Ах так! — сказал маркиз.

Незнакомец показал пальцем в сторону фермы, крыша которой еле виднелась из-за купы деревьев.

— Вот она, крыша, видите?

— Вижу.

— А видите, что там такое наверху?

— Что-то вьется.

— Да.

— Флаг вьется.

— Трехцветный, — заключил незнакомец.

Еще с вершины дюны маркиз обратил

внимание на этот предмет, вблизи оказавшийся флагом.

— Что это, кажется, в набат бьют?

— Да, бьют.

— А что тому причиной?

— Вы, должно быть.

— А почему ничего не слышно?

— Ветер относит.

Незнакомец спросил:

— Объявление видели?

— Видел.

— Вас разыскивают.

Затем, бросив беглый взгляд в сторону фермы, добавил:

— Там целый полубатальон.

— Республиканцев?

— Парижан.

— Ну что ж, — ответил маркиз, — идем.

И сделал шаг по направлению фермы.

Нищий схватил его за руку.

— Не ходите туда!

— А куда же, по-вашему, я должен идти?

— Ко мне.

Маркиз молча взглянул на нищего.

— Послушайте-ка меня, господин маркиз. У меня не сказать чтобы очень богато, зато надежно. Землянка не высока, вроде погреба. Вместо кровати сухие водоросли. Вместо кровли ветки и трава.

Идем ко мне. На ферме вас расстреляют. А у меня вы спокойно отдохнете. Вы, должно быть, устали; завтра утром синие уйдут, и можете идти куда вам угодно.

Маркиз по прежнему глядел на незнакомца.

— А вы-то на чьей стороне? — спросил он. —

Вы что — республиканец? роялист?

— Я — нищий.

— Не республиканец, не роялист?

— Как-то не думал об этом.

— За короля вы или против?

— Времени не было решить.

— А что вы думаете о происходящих событиях?

— Думаю, что жить мне не на что.

— Однакож вы решили спасти меня.

— Я узнал, что вас объявили вне закона. А что такое закон, раз можно быть вне его? Никак в толк не возьму. Вот я, что я — вне закона? Или наоборот? Ничего не понимаю. С голоду помереть это по закону выходит или нет?

— Вы давно уж так бедствуете?

— Всю жизнь.

— И все-таки решили меня спасти?

— Решил.

— Почему?

— Потому, что я подумал: вот человек, которому еще хуже, чем мне. Я хоть имею право

дышать, а он и того права не имеет.

— Это верно. И вы хотите меня спасти?

— Конечно. Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость. Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие.

— А вы знаете, что моя голова оценена?

— Знаю.

— А как вы об этом узнали?

— Объявление прочел.

— Вы умеете читать?

— Умею. И писать тоже умею. Почему же я должен неграмотным скотом быть?

— Раз вы умеете читать и раз вы прочитали объявление, вы должны знать, что тот, кто меня выдаст, получит шестьдесят тысяч франков!

— Знаю.

— И не в ассигнатах.

— Знаю, в золоте.

— А знаете ли вы, что шестьдесят тысяч — это целое состояние?

— Да.

— И следовательно, тот, кто меня выдаст, станет богачом?

— Знаю, ну и что?

— Богачом!

— Как раз я об этом и подумал. Увидел вас и сразу сообразил: тот, кто выдаст этого человека, получит шестьдесят тысяч франков и станет

богачом, Значит, придется его спрятать да побыстрее.

Маркиз молча последовал за нищим.

Они углубились в чашу. Здесь и помещалась землянка нищего. Огромный старый дуб пустил к себе человека, устроившего под его сенью свое жилище; под мощными корнями была вырыта землянка, прикрытая сверху густыми ветвями. Землянка была темная, низкая, надежно укрытая от глаз. В ней могли поместиться двое.

— Слово я знал, что мне придется принимать гостей, — сказал нищий.

Такие землянки гораздо чаще попадаются в Бретани, чем принято думать, и зовутся на местном диалекте «пещерка». Тем же словом здесь называют тайники, которые устраивают в толще стен.

Все убранство такой пещерки обычно составляют несколько горшков, ложе из соломы или из промытых и высушенных на солнце морских водорослей, дерюга вместо одеяла, два-три светильника, наполненных животным жиром, и десяток сухих стебельков в замену спичек.

Согнувшись, почти на четвереньках, вползли они в пещерку, перерезанную толстыми корнями дуба на крохотные каморки, и уселись на кучу сухих водорослей, заменявших кровать. Меж двух корней, образующих узкий вход, в пещерку проникал слабый свет. Спускалась ночь, но

человеческий глаз приспособляется к любому освещению и в конце концов даже в полном мраке сумеет отыскать светлую точку. Лунный луч бледным пятном лежал у входа. В углу виднелся кувшин с водой, лепешка из гречневой муки и кучка каштанов.

— Давайте поужинаем, — предложил нищий.

Они поделили каштаны, маркиз вынул из кармана матросскую галету, они откусывали от одного куска и пили по очереди из одного кувшина.

Завязался разговор.

Маркиз начал первым.

— Следовательно, — спросил он, — случаются ли какие-нибудь события, или вовсе ничего не случается, вам все равно?

— Пожалуй, что и так. Вы — господа, вы другое дело. Это уж ваша забота.

— Но ведь то, что сейчас происходит...

— Происходит — наверху.

И нищий добавил:

— А многое происходит еще выше: вот солнце, к примеру, подымается, или месяц на убыль идет, или полнолуние наступит, вот это мне не все равно.

Он отхлебнул глоток из кувшина и произнес:

— Хороша вода, свежая.

И добавил:

— А вам она по вкусу ли, ваша светлость?

— Как вас зовут? — спросил маркиз.

— Зовут меня Тельмарш, а кличут «Нищоброд».

— Слышал такое слово. В здешних местах так говорят.

— Нищоброд — значит нищий. И еще одно прозвище у меня есть — «Старик».

Он продолжал:

— Вот уже сорок лет как меня «Стариком» величают.

— Сорок лет! да вы тогда были еще совсем молодым человеком.

— Никогда я молодым не был. Вот вы, маркиз, всегда были молоды. У вас и сейчас ноги, как у двадцатилетнего, смотрите, как легко вы на дюну взобрались; а я еле двигаюсь, пройду четверть лье, и конец, из сил выбился. А ведь мы с вами однолетки; ну да у богатых против нас есть одно преимущество — каждый день едят. А еда человека сохраняет.

Помолчав немного, нищий снова заговорил:

— Бедняки, богачи — страшное дело. Отсюда все беды и идут. По крайней мере так на мой взгляд выходит. Бедные хотят стать богатыми, а богачи не хотят стать бедными. В этом-то весь корень зла, по моему разумению. Только мое дело сторона. События они и есть события. По мне что кредитор, что должник — все едино. Знаю только, что раз

есть долги, их надо платить. Вот и все. Было бы лучше, если бы короля не убивали, а почему — сказать не могу. Мне на это возражают: «В прежние времена господа ни за что ни про что людей на сук вздергивали». Что и говорить, я своими глазами видел, как один бедняга подстрелил в недобрый час королевскую косулю, за что его и повесили, а у него осталась жена и семеро ребятишек. Так что тут надвое можно сказать.

Он помолчал и снова заговорил:

— Поверьте, никак я в толк не возьму. Одни приходят, другие уходят, события разные случаются, а я вот сижу на отшибе да гляжу на звезды.

Тельмарш погрузился в глубокое раздумье, потом произнес:

— Я, видите ли, немножко костоправ, немножко лекарь, в травах разбираюсь, знаю, какая на пользу человеку идет, а здешние жители заметят, что я гляжу на что-нибудь задумавшись, ну и говорят, будто я колдун. Я просто размышляю, а они считают, что мне невесть что открыто.

— Вы местный житель? — спросил маркиз.

— Всю жизнь здесь прожил.

— А меня вы знаете?

— Как же не знать. В последний раз я вас видел два года тому назад, в последний ваш приезд. А отсюда вы в Англию отправились. А вот сейчас

заметил какого-то человека на вершине дюны. Смотрю, человек высокого роста. А высокие здесь в диковину; в Бретани народ все мелкий, низкорослый. Пригляделся получше, прочел объявление и подумал: «Гляди-ка ты!» А когда вы спустились, тут уж луна взошла, я вас сразу же и признал.

— Однако я вас не знаю.

— Вы меня видели и не видели.

И Тельмарш-Нищеброд пояснил:

— Я-то вас видел. Прохожий и нищий по-разному друг на друга глядят.

— Стало быть, я вас и раньше встречал?

— Частенько, ведь я здешний, значит как бы ваш нищий. Я просил милостыню на той дороге, что ведет к вашему замку. При случае вы мне тоже подавали; но тот, кто милостыню подает, не смотрит, а тот, кто получает, все заметит, все оглядит. Нищий, говорят, тот же соглядатай. Хоть мне подчас и горько приходится, однако я стараюсь, чтобы мое соглядатайство во зло никому не пошло. Я протягивал руку, вы только мою руку и видели; бросите проходя монету, а она мне как раз утром нужна, чтобы дотянуть до вечера и не умереть с голоду. Иной раз круглые сутки маковой росинки во рту не бывает. А когда есть грош — значит еще жив. Выходит, я вам обязан жизнью, а теперь только заплатил долг.

— Совершенно верно, вы меня спасли.

— Да, я вас спас, ваша светлость.

В голосе Тельмарша прозвучали торжественные ноты.

— Только при одном условии.

— Каком условии?

— При том, что вы явились сюда не ради зла.

— Я явился сюда ради добра, — ответил маркиз.

— Ну, пора спать, — сказал нищий.

Они устроились рядом на ложе из водорослей. Нищий тут же заснул. А маркиз, несмотря на сильную усталость, с минуту еще думал о чем-то, потом взглянул на лежащего с ним рядом в потемках Тельмарша и лег. Спать на нищенском ложе, значит спать прямо на голой земле; воспользовавшись этим обстоятельством, маркиз припал ухом к земле и стал слушать. Оттуда доносился глухой шум — как известно, звук быстро распространяется под землей; и маркиз различил далекий перезвон колоколов.

По прежнему били в набат.

Маркиз уснул.

VII. Подписано: «Говэн»

Когда он проснулся, уже брезжил свет.

Нищий стоял не в землянке, так как в

землянке невозможно было выпрямиться во весь рост, а у порога своей пещерки. Он опирался на палку. На лице его играли солнечные лучи.

— Ваша светлость, — начал Тельмарш, — на колокольне Танис уже пробило четыре часа; ветер переменился, теперь он с суши дует. А кругом тихо, ни звука, стало быть в набат больше не бьют. Все спокойно и на ферме и на мызе «Соломинка». Синие или еще спят, или уже ушли. Теперь опасности нет, разумнее всего нам с вами распрощаться. В этот час я обычно ухожу из дому.

Он указал куда-то вдаль:

— Вот туда я и пойду.

Затем показал в обратную сторону:

— А вы вот туда идите.

И нищий важно махнул рукой на прощание.

Потом указал на остатки вчерашнего ужина:

— Если вы голодны, можете взять себе каштаны.

Через мгновение он уже скрылся в чаще.

Маркиз поднялся со своего ложа и пошел в направлении, указанном Тельмаршем.

Был тот восхитительный час, который в старину нормандские крестьяне именовали «птичьи пересуды». Со всех сторон доносился пересвист щеглов и воробьиное чириканье. Маркиз шагал по тропинке, по которой он шел вчера в сопровождении нищего. Он выбрался из лесной

чаши и направился к перекрестку дорог, где стоял каменный крест. Объявление по прежнему было здесь, в лучах восходящего солнца оно выглядело каким-то нарядным и особенно белым. Маркиз вспомнил, что внизу объявления имеется строчка, которую он не мог прочитать накануне. Он подошел к подножью креста. И действительно, ниже подписи «Приер из Марны», две строчки, набранные мелким шрифтом, гласили:

«В случае установления личности маркиза де Лантенака он будет немедленно расстрелян». Подписано: «Командир батальона, начальник экспедиционного отряда Говэн».

— Говэн! — промолвил маркиз.

С минуту он стоял неподвижно, не отрывая глаз от объявления.

— Говэн! — повторил он.

Он зашагал вперед, потом вдруг обернулся, взглянул на крест, повернул обратно и прочел объявление еще раз.

Затем он медленно отошел прочь. И повстречайся с ним в эту минуту прохожий, он услышал бы, как маркиз вполголоса твердит про себя: «Говэн!»

Высокий обрывистый откос дороги, по которой он шел, загораживал крыши фермы, оставшейся по левую руку. Путь маркиза лежал мимо крутого холма, покрытого цветущим

терновником. Вершину пригорка венчал голый земляной выступ, именовавшийся в здешних краях «Кабанья Голова». Подножье пригорка густо поросло кустарником, и взгляд терялся в зеленой чаще. Листва словно вбирала в себя солнечный свет. Вся природа дышала безмятежной радостью утра.

Вдруг этот мирный пейзаж стал страшен. Перемена была внезапной, как нападение из засады.

Лавина диких криков и ружейных залпов внезапно обрушилась на эти леса и нивы, залитые солнцем; над фермой и мызой поднялся огромный клуб дыма, пронизанный языками огня, словно там запылывал стог соломы. Как зловещ и скор был этот переход от безмятежного спокойствия к ярости, эта вспышка адского пламени на фоне розовеющей зари, этот внезапно родившийся ужас! Бой шел возле фермы «Соломинка». Маркиз остановился.

Нет человека, который в подобных обстоятельствах не поддался бы чувству жгучего любопытства, чувству более сильному, нежели чувство самосохранения. Старик взошел на холм, у подножия которого пролежала дорога. Пусть отсюда будет видно его самого, зато он сам увидит все. Через несколько минут он достиг Кабаньей Головы. И огляделся по сторонам.

Да, там раздавались выстрелы, там разгорался пожар. Сюда навверх доносились крики, отсюда

видно было пламя. Ферма оказалась в центре какой-то непонятной катастрофы. Какой именно? Неужели «Соломинка» подверглась нападению? Но кто же напал на нее? Да и бой ли это? Вероятнее всего, это просто карательная экспедиция. Нередко синие, во исполнение революционного декрета, карали мятежные деревни и фермы, предавая их огню; чтобы другим не повадно было, они сжигали каждый хутор и каждую хижину, не сделавших в лесу вырубки, как то от них требовалось, или же своевременно не расчистивших прохода в чаще для следования республиканской кавалерии. Совсем недавно подобная экзекуция была совершена в приходе Бургон, неподалеку от Эрне. Неужели и «Соломинка» подверглась такой каре? Даже простым глазом было видно, что среди кустарника и лесов, окружавших Танис и «Соломинку», никто не позаботился, вопреки требованию декрета, проложить стратегической просеки. Значит, расправа обрушилась и на «Соломинку»? Уж не получили ли занявшие ферму солдаты соответствующего приказа? И уж не входит ли этот авангардный батальон в состав карательных отрядов, именуемых «адскими колоннами»?

К пригорку, с которого маркиз обзирал округу, со всех четырех сторон подступал густой, почти непроходимый перелесок. Известный больше под именем роци, но вполне достойный по своим

размерам зваться бором, перелесок этот тянулся вплоть до фермы «Соломинка» и, подобно всем бретонским чащам, скрывал глубокие складки оврагов, лабиринты тропинок и дорог, где сутками блуждали в поисках пути республиканские армии.

Экзекуция, если только это действительно была экзекуция, должно быть, обрушилась на мирную ферму со всей жестокостью, ибо длилась она всего несколько минут. Как и любое насилие, она совершилась мгновенно. Гражданские войны приемлют такие расправы. Пока маркиз терялся в догадках, не зная, спуститься ли ему вниз, или оставаться здесь, на холме, пока он вслушивался и вглядывался, шум побоища утих, или, вернее, рассеялся. Маркиз догадался, что теперь среди густого кустарника растеклась во всех направлениях яростная и торжествующая орда. Под сенью дерев кишел человеческий муравейник. Расправившись с фермой, все бросились в лес. Барабаны били сигнал атаки. Выстрелы смолкли; бой затих, но началась облава, словно люди преследовали, выслеживали кого-то, гнались за кем-то. Ясно было, что начался поиск; кругом стоял глухой и раскатистый шум; слышались вперемежку крики гнева и ликования, из общего гула вдруг вырывался радостный возглас, но слов нельзя было различить. Подобно тому как сквозь густой дым вдруг начинают вырисовываться очертания

предметов, так и сквозь этот гам пробилось одно четко и отдельно произнесенное слово, вернее имя, имя, повторенное тысячью глоток, и маркиз различил: «Лантенак! Лантенак! Маркиз де Лантенак!»

Стало быть, искали именно его.

VIII. Превратности гражданской войны

И внезапно вокруг маркиза, разом со всех сторон, перелесок ошестинился дулами ружей, штыками и саблями; в пороховом дыму заплескалось трехцветное знамя, крики «Лантенак!» явственно достигли слуха маркиза, а у ног его, между колючек, терний и веток, показались свирепые физиономии.

Одинокая фигура маркиза, стоявшего неподвижно на вершине пригорка, была заметна из каждого уголка леса. Хотя сам он с трудом различал тех, кто выкликал его имя, его было видно отовсюду. Если в лесу имелась тысяча ружей, то он, стоя здесь, на вершине пригорка, являл собою превосходную мишень для каждого. В густом кустарнике виднелись лишь горящие зрачки.

Маркиз снял шляпу, отогнул поля, сорвал с терновника длинную сухую колючку, вытащил из кармана белую кокарду и приколот ее колючкой вместе с поднятым бортом к тулье, надел шляпу,

так что кокарда сразу же бросалась в глаза, и произнес громким голосом, как бы требуя внимания от лесной чащи:

— Я тот, кого вы ищете. Да, я маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, бретонский принц, генерал-лейтенант королевских армий. Кончайте быстрее! Целься! Огонь!

И, схватившись обеими руками за отвороты своей козьей куртки, он широко распахнул ее, подставив под дула голую грудь.

Опустив глаза долу, он искал взглядом нацеленные на него ружья, а увидел коленопреклоненную толпу.

Громогласный крик единодушно вырвался из сотен глоток: «Да здравствует Лантенак! Да здравствует его светлость! Да здравствует наш генерал!»

Над деревьями замелькали брошенные в воздух шляпы, весело закружились над головами клинки сабель, и над зеленым кустарником поднялся частокол палок, с нацепленными на них коричневыми вязаными колпаками.

Люди, толпившиеся вокруг Лантенака, оказались отрядом вандейцев.

Увидев его, вандейцы преклонили колена.

Старинная легенда гласит, что некогда в тюрингских лесах жили удивительные существа, из породы великанов, похожие на людей и вместе с

тем не совсем люди, коих римлянин почитал дикими зверьми, а германец — богами во плоти, и в зависимости от того, кто попадался на пути такого бога-зверя, его ждал смертоносный удар или слепое преклонение.

В эту минуту маркиз ощутил нечто подобное тому, что должны были испытывать те сказочные существа, — он ожидал, как зверь, удара, и вдруг ему, как божеству, воздаются почести.

Сотни глаз, горевших грозным огнем, впились в маркиза с выражением дикарского обожания.

Весь этот сброд был вооружен карабинами, саблями, косами, мотыгами, палками; у каждого на широкополой войлочной шляпе или на коричневом вязаном колпаке рядом с белой кокардой красовалась целая гроздь амулетов и четок, на всех были широкие штаны, не доходившие до колен, плащи, кожаные гетры, открывавшие голые лодыжки, космы волос падали на плечи; у многих был свирепый вид, но во всех взглядах светилось простодушие.

Какой-то молодой человек с красивым лицом растолкал толпу коленопреклоненных вандейцев и твердым шагом направился к маркизу. Голову его украшала простая войлочная шляпа с белой кокардой на приподнятом крае, одет он был, как и все прочие, в плащ из грубой шерсти, но руки выделялись белизной, а сорочка качеством полотна;

под распахнутой на груди курткой виднелась белая шелковая перевязь, служившая портупеей для шпаги с золотым эфесом.

Добравшись до верха Кабаньей Головы, молодой человек швырнул наземь шляпу, отцепил перевязь и, опустившись на колени, протянул ее маркизу вместе со шпагой.

— Да, мы искали вас, — сказал он, — и мы вас нашли. Разрешите вручить вам шпагу командующего. Все эти люди отныне в полном вашем распоряжении. Я был их командиром, теперь я получил повышение в чине: я ваш солдат. Примите, ваша светлость, наше глубочайшее почтение. Мы ждем ваших приказаний, господин генерал.

Он махнул рукой, и из леса показались люди, несущие трехцветное знамя. Они тоже подошли к маркизу и опустили знамя к его ногам. Именно это знамя заметил маркиз тогда среди деревьев и кустов.

— Господин генерал, — продолжал молодой человек, сложивший к ногам маркиза свою шпагу с перевязью, — мы только что отбили это знамя у синих, засевших на ферме «Соломинка». Имя мое Гавар. Я служил под началом маркиза де Ларуари.

— Что ж, чудесно, — ответил старик.

Уверенным и спокойным движением он перепоясал себя шарфом.

Потом выхватил из ножен шпагу и, потрясая ею над головой, воскликнул:

— Встать! Да здравствует король!

Коленопреклоненная толпа поднялась.

И в мрачной чаще леса прокатился глухой ликующий крик: «Да здравствует наш король! Да здравствует наш маркиз! Да здравствует Лантенак!»

Маркиз повернулся к Гавару:

— Сколько вас?

— Семь тысяч.

И, спускаясь с пригорка за Лантенаком, перед которым услужливые руки крестьян торопливо раздвигали колючие ветки, Гавар добавил:

— Нет ничего проще, ваша светлость. Сейчас я вам все объясню в двух словах. Мы ждали лишь первой искры. Узнав из объявления республиканцев о вашем прибытии, мы призвали всю округу встать за короля. К тому же нас тайком известил мэр Гранвиля — наш человек, тот самый, что спас аббата Оливье. Нынче ночью ударили в набат.

— Ради чего?

— Ради вас.

— А!.. — произнес маркиз.

— И вот мы здесь, — подхватил Гавар.

— Вас семь тысяч?

— Сегодня всего семь. А завтра будет пятнадцать. Да и эти пятнадцать — дань лишь одной округи. Когда господин Анри Ларошжаклен

отбывал в католическую армию, мы тоже ударили в набат, и в одну ночь шесть приходов — Изернэ, Коркэ, Эшобруань, Обье, Сент-Обэн и Ньюэль выставили десять тысяч человек. Не было боевых припасов, — у какого-то каменотеса обнаружилось шестьдесят фунтов пороха, и господин Ларошжаклен двинулся в поход. Мы предполагали, что вы должны находиться где-нибудь поблизости в здешних лесах, и отправились на поиски.

— Значит, это вы перебили синих на ферме «Соломинка»?

— Ветром унесло колокольный звон в другую сторону, и они не слышали набата. Потому-то они и не поостереглись; жители фермы — безмозглое мужичье — встретили их с распростертыми объятиями. Сегодня утром, пока синие еще мирно почивали, мы окружили ферму и покончили с ними в одну минуту. У меня есть лошадь. Разрешите предложить ее вам, господин генерал?

— Хорошо.

Какой-то крестьянин подвел к генералу белую лошадь под кавалерийским седлом. Маркиз, словно не заметив подставленной руки Гавара, без посторонней помощи вскочил на коня.

— Ур-ра! — крикнули крестьяне. Возглас «ура», как и многие другие английские словечки, широко распространены на бретонско-нормандском берегу, издавна связанном с островами Ламанша.

Гавар отдал честь и спросил:

— Где изволите выбрать себе штаб-квартиру, господин генерал?

— Пока в Фужерском лесу.

— В одном из семи принадлежащих вам лесов, маркиз?

— Нам необходим священник.

— Есть один на примете.

— Кто же?

— Викарий из прихода Шапель-Эрбре.

— Знаю. Если не ошибаюсь, он бывал на Джерсее.

Из рядов выступил священник.

— Трижды, — подтвердил он.

Маркиз обернулся на голос:

— Добрый день, господин викарий.хлопот у вас будет по горло.

— Тем лучше, ваша светлость.

— Вам придется исповедовать сотни людей. Но только тех, кто изъявит желание. Насильно никого.

— Маркиз, — возразил священник, — Гастон в Геменэ насильно гонит республиканцев на исповедь.

— На то он и цирюльник, — ответил маркиз. — В смертный час нельзя никого неволить.

Гавар, который тем временем давал солдатам последние распоряжения, выступил вперед.

— Жду ваших приказаний, господин генерал.

— Прежде всего встреча состоится в Фужерском лесу. Пусть пробираются туда поодиночке.

— Приказ уже дан.

— Помнится, вы говорили, что жители «Соломинки» встретили синих с распростертыми объятьями?

— Да, господин генерал.

— Вы сожгли ферму?

— Да.

— А мызу сожгли?

— Нет.

— Сжечь немедленно.

— Синие пытались сопротивляться, но их было всего сто пятьдесят человек, а нас семь тысяч.

— Что это за синие?

— Из армии Сантерра.

— А, того самого, что командовал барабанщиками во время казни короля? Значит, это парижский батальон?

— Вернее, полбатальона.

— А как он называется?

— У них на знамени написано: «Батальон Красный Колпак».

— Зверье!

— Как прикажете поступить с ранеными?

— Добить.

- А с пленными?
 - Расстрелять.
 - Их человек восемьдесят.
 - Расстрелять.
 - Среди них две женщины.
 - Расстрелять.
 - И трое детей.
 - Захватите с собой. Там посмотрим.
- И маркиз дал шпоры коню.

XIX. Не миловать (девиз Коммуны), пощады не давать (девиз принцев)

В то время как все эти события разыгрывались возле Таниса, нищий брел по дороге в Кроллон. Он спускался в овраги, исчезал порой под широколиственными кронами деревьев, то не замечая ничего, то замечая что-то вовсе недостойное внимания, ибо, как он сам сказал недавно, он был не мыслитель, а мечтатель; мыслитель, тот во всем имеет определенную цель, а мечтатель не имеет никакой, и поэтому Тельмарш шел куда глаза глядят, сворачивал в сторону, вдруг останавливался, срывал на ходу пучок конского щавеля, жевал свежие его листочки, то, припав к ручью, пил прохладную воду, то, услышав вдруг отдаленный гул, удивленно вскидывал голову, потом вновь подпадал под колдовские чары

природы; солнце пропекало его лохмотья, до слуха его, быть может, доносились голоса людей, но он внимал лишь пенью птиц.

Он был стар и медлителен; дальние прогулки стали ему не под силу; как он сам объяснил маркизу де Лантенаку, уже через четверть лье у него начиналась одышка; поэтому он обогнул кратчайшим путем Круа-Авраншен и к вечеру вернулся к тому перекрестку дорог, откуда начал путь.

Чуть подальше Масэ тропка вывела его на голый безлесный холм, откуда было видно далеко во все четыре стороны; на западе открывался бескрайний простор небес, сливавшийся с морем.

Вдруг запах дыма привлек его внимание.

Нет ничего слаще дыма, но нет ничего и страшнее его. Дым бывает домашний, мирный, и бывает дым-убийца. Дым разнится от дыма густотой своих клубов и цветом их окраски, и разница эта та же, что между миром и войной, между братской любовью и ненавистью, между гостеприимным кровом и мрачным склепом, между жизнью и смертью. Дым, вьющийся над кроной деревьев, может означать самое дорогое на свете — домашний очаг и самое страшное — пожар; и все счастье человека, равно как и все его горе, заключено подчас в этой субстанции, послушной воле ветра.

Дым, который заметил с пригорка Тельмарш, вселял тревогу.

В густой его черноте пробегали быстрые красные язычки, словно пожар то набирался новых сил, то затихал. Дым подымался над фермой «Соломинка».

Тельмарш ускорил шаг и направился туда, откуда шел дым. Он очень устал, но ему не терпелось узнать, что там происходит.

Нищий взобрался на пригорок, к подножью которого прилепились ферма и мыза.

Но ни фермы, ни мызы не существовало более.

Тесно сбитые в ряд пылающие хижины, вот что осталось от «Соломинки».

Если существует на свете зрелище более печальное, чем горящий замок, то это зрелище горячей хижины. Охваченная пожаром хижина невольно вызывает слезы. Есть какая-то удручающая и нелепая несообразность в бедствии, обрушившемся на нищету, в коршуне, раздирающем земляного червя.

По библейскому преданию, всякое живое существо, смотрящее на пожар, обращается в каменную статую; и Тельмарш тоже на минуту застыл, как изваяние. Он замер на месте при виде открывшегося перед ним зрелища. Огонь творил свое дело в полном безмолвии. Ни человеческого

крика не доносилось с фермы, ни человеческого вздоха не летело вслед уплывающим клубам; пламя в сосредоточенном молчании пожирало остатки фермы, и лишь временами слышался треск балок и тревожный шорох горящей соломы. Минутами ветер раздирал клубы дыма, и тогда сквозь рухнувшие крыши виднелись черные провалы горниц; горящие угли являли взору всю россыпь своих рубинов; окрашенное в багрец тряпье и жалкая утварь, одетая пурпуром, на мгновение возникали среди разруженных огнем стен, так что Тельмарш невольно прикрыл глаза перед зловещим великолепием бедствия.

Каштаны, росшие возле хижин, уже занялись и пылали.

Тельмарш напряженно прислушивался, стараясь уловить хоть звук человеческого голоса, хоть призыв о помощи, хоть стон; но все было недвижно, кроме языков пламени, все молчало, кроме ревушего огня. Следовательно, люди успели разбежаться?

Куда делось все живое, что населяло «Соломинку» и трудилось здесь? Что случилось с горсткой ее жителей?

Тельмарш зашагал с пригорка вниз.

Он старался разгадать страшную тайну. Он шел не торопясь, зорко глядя вокруг. Медленно, словно тень, подходил он к этим руинам и сам себе

казался призраком, посетившим безмолвную могилу.

Он подошел к воротам фермы, вернее к тому, что было раньше ее воротами, и заглянул во двор: ограды уже не существовало и ничто не отделяло его от хижины.

Все увиденное им прежде было ничто. Он видел лишь страшное, теперь пред ним предстал сам ужас.

Посреди двора чернела какая-то груда, еле очерченная с одной стороны отсветом зарева, а с другой — сиянием луны; эта груда была грудой человеческих тел, и люди эти были мертвы.

Вокруг натекла лужа, над которой подымался дымок, отблески огня играли на ее поверхности, но не они окрашивали ее в красный цвет; то была лужа крови.

Тельмарш приблизился. Он начал осматривать лежащие перед ним тела, — тут были только трупы.

Луна лила свой свет, пожарище бросало свой.

То были трупы солдат. Все они лежали босые; кто-то поторопился снять с них сапоги, кто-то поторопился унести их оружие. Но на них уцелели мундиры — синие мундиры; в груди мертвых тел и отрубленных голов валялись простреленные каски с трехцветными кокардами. То были республиканцы, которые еще вчера, живые и здоровые, расположились на ночлег на ферме «Соломинка».

Этих людей предали мучительной смерти, о чем свидетельствовала аккуратно сложенная гора трупов; людей убили на месте и убили обдуманно. Все были мертвы. Из груды тел не доносилось даже предсмертного хрипа.

Тельмарш провел смотр этим мертвецам, не пропустив ни одного; всех изрешетили пули.

Те, кто выполнял приказ о расстреле, по всей видимости, поспешили уйти и не позаботились похоронить мертвецов.

Уже собираясь уходить, Тельмарш бросил последний взгляд на низенький частокол, чудом уцелевший посреди двора, и заметил две пары ног, торчащих из-за угла.

Ноги эти были обуты и казались меньше, чем все прочие; Тельмарш подошел поближе. То были женские ноги.

По ту сторону частокола лежали две женщины, их тоже расстреляли.

Тельмарш нагнулся. На одной женщине была солдатская форма, возле нее валялась продырявленная пулей пустая фляга. Это оказалась маркитантка. Череп ее пробил четыре пули. Она уже скончалась.

Тельмарш осмотрел ту, что лежала с ней рядом. Это была простая крестьянка. Бледное лицо, оскаленный рот, глаза плотно прикрыты веками. Но раны на голове Тельмарш не обнаружил, Платье,

превратившееся от долгой носки в лохмотья, разорвалось при падении и открывало почти всю грудь. Тельмарш раздвинул лохмотья и увидел на плече круглую пулевую ранку, — очевидно, была перебита ключица. Старик взглянул на безжизненно посиневшую грудь.

— Мать-кормилица, — прошептал он.

Он дотронулся до тела женщины. И ощутил живое тепло.

Других повреждений, кроме перелома ключицы и раны в плече, он не заметил.

Тельмарш положил руку на сердце женщины и уловил робкое биение. Значит, она еще жива.

Он выпрямился во весь рост и прокричал страшным голосом:

— Эй, кто тут есть? Выходи.

— Да это никак ты, Нищеврод, — тут же отозвался голос, но прозвучал он приглушенно.

И в ту же минуту между двух рухнувших балок просунулась чья-то физиономия.

Следом из-за угла хижины выглянуло еще чье-то лицо.

Два крестьянина успели во-время спрятаться, только им двоим и удалось спастись от пуль.

Услышав знакомый голос Тельмарша, они приободрились и рискнули выбраться на свет божий.

Их обоих до сих пор била дрожь.

Тельмарш мог только кричать, говорить он уже не мог; таково действие глубоких душевных потрясений.

Он молча показал пальцем на тело женщины, распростертое на земле.

— Неужели жива? — спросил крестьянин.

Тельмарш утвердительно кивнул головой.

— А другая тоже жива? — осведомился второй крестьянин.

Тельмарш отрицательно покачал головой.

Тот крестьянин, что выбрался из своего укрытия первым, заговорил:

— Стало быть, все прочие померли? Видел я все, своими глазами видел. Сидел в погребке. Вот в такую минуту и поблагодаришь господ, что нет у тебя семьи. Домишко-то мой сожгли. Боже мой, господи, всех поубивали. А у этой вот женщины дети были. Трое детишек! Мал мала меньше. Уж как ребятки кричали: «Мама! Мама!» А мать кричала: «Дети мои!» Мать, значит, убили, а детей увели. Сам своими глазами видел. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Те, что всех здесь перебили, ушли потом. Да еще радовались. Маленьких, говорю, увели, а мать убили. Да она жива, скажи, жива ведь? Как, по-твоему, удастся тебе ее спасти? Хочешь, мы тебе поможем перенести ее в твою пещерку?

Тельмарш утвердительно кивнул головой.

Лес подступал к самой ферме. Не мешкая зря, крестьяне смастерили из веток и папоротника носилки. На носилки положили женщину, по прежнему не подававшую признаков жизни, один крестьянин впрягся в носилки в головах, другой в ногах, а Тельмарш шагал рядом и держал руку раненой, стараясь нащупать пульс. По дороге крестьяне продолжали беседовать, и их испуганные голоса как-то странно звучали над израненным телом женщины, которая в лучах луны казалась еще бледнее.

— Всех поубивали.

— Все сожгли.

— Святые угодники, что-то теперь будет?

— А все это длинный старик натворил.

— Да, это он всем командовал.

— Я что-то его не заметил, когда расстрел шел. Разве он был тут?

— Не было его. Уже уехал. Но все равно, все делалось по его приказу.

— Значит, он всему виной.

— А как же, ведь это он приказал: «Убивайте, жгите, никого не милуйте».

— Говорят, он маркиз.

— Маркиз и есть. Наш маркиз.

— Как его звать-то?

— Да это же господин де Лантенак.

Тельмарш поднял глаза к небесам и

прошептал сквозь судорожно стиснутые зубы:

— Если б я знал!

Х. Улицы Парижа тех времен

Вся жизнь протекала на людях. Столы вытаскивали на улицу и обедали тут же перед дверьми; на ступеньках церковной паперти женщины щипали корпию, распевая марсельезу; парк Монсо и Люксембургский сад стали плацем, где новобранцев обучали воинским артикулам; на каждом перекрестке работали полным ходом оружейные мастерские, здесь готовили ружья, и прохожие восхищенно хлопали в ладоши; одно было у всех на устах: «Терпение. Этого требует революция». И улыбались героически. Зрелища привлекли огромные толпы, как в Афинах во время Пелопонесской войны; на каждом углу пестрели афиши: «Осада Тионвиля», «Мать семейства, спасенная из пламени», «Клуб беспечных», «Папесса Иоанна», «Солдаты-философы», «Сельское искусство любви». Немцы стояли у ворот столицы; ходил слух, будто прусский король приказал оставить для него ложу в Опере. Все было страшно, но никто не ведал страха. Зловещий «закон о подозрительных»,⁶¹ который останется на

⁶¹ «Закон о подозрительных» — был принят Конвентом

совести Мерлена из Дуэ, вздымал над каждой головой зримый призрак гильотины. Некто Сэран, прокурор, узнав, что на него поступил донос, сидел в ожидании ареста у окна в халате и ночных туфлях и играл на флейте. Всем было недосуг. Все торопились. На каждой шляпе красовалась кокарда. Женщины говорили: «Нам к лицу красный колпак». Казалось, весь Париж переезжал с квартиры на квартиру. Лавчонки старьевщиков уже не вмещали корон, митр, позолоченных деревянных скипетров и геральдических лилий — всякого старья из королевских дворцов. Отжившая свой век монархия шла на слом. Ветошники бойко торговали церковным облачением. У Поршерона и Рампоно люди, наряженные в стихари и епитрахили, важно восседая на ослах, покрытых вместо чепраков ризами, протягивали разливавшим вино кабатчикам священные дароносицы. На улице Сен-Жак босоногие каменщики властным жестом останавливали тачку разносчика, торговавшего обувью, покупали вскладчину пятнадцать пар сапог

17 сентября 1793 года. Этот закон предписывал местным органам власти следить за действиями людей, ненадежных в политическом отношении, заключать их в тюрьму и предавать суду Революционного трибунала. Этот закон, изданный по требованию народных масс, сыграл большую роль в борьбе против контрреволюционных элементов.

и тут же отправляли в Конвент в дар нашим воинам. На каждом шагу красовались бюсты Франклина,⁶² Руссо,⁶³ Брута и Марата;⁶⁴ под одним из бюстов Марата на улице Клош-Перс была прибита в застекленной черной рамке обвинительная речь против Малуэ;⁶⁵ с полным

⁶² *Франклин* Вениамин (1706–1790) — видный американский публицист, политический деятель и ученый (физик), принимал активное участие в войне за независимость в Северной Америке (1775–1783), был дипломатическим представителем США в Париже и добился заключения союза между Францией и США против Англии.

⁶³ *Руссо* Жан-Жак (1712–1778) — французский писатель и философ, один из виднейших просветителей XVIII века, идеолог мелкой буржуазии, выдвигавший в своих трудах («Об общественном договоре» и др.) идею народовластия. Демократические теории Руссо сыграли крупную роль в идейной подготовке французской революции XVIII века.

⁶⁴ *Марат* Жан-Поль (1743–1793) — один из виднейших деятелей французской революции, врач и публицист; член Конвента, один из руководителей Якобинского клуба, редактор газеты «Друг народа»; пользовался огромной популярностью в народных массах. 13 июля 1793 года был злодейски убит контрреволюционными заговорщиками.

⁶⁵ *Малуэ* Пьер-Виктор (1740–1814) — французский политический деятель. Во время революции конца XVIII века основал монархический «Клуб беспристрастных». После

перечнем улик и припиской сбоку: «Все эти подробности сообщены мне любовницей Сильвэна Байи — доброй патриоткой, не раз доказывавшей мне свое сердечное расположение. На подлинном подпись: «Марат». На площади Пале-Рояль прежняя надпись на фонтане: «Quantos effundit in usus!»⁶⁶ — исчезла под двумя огромными полотнищами — на одном был изображен темперой Кайе де Жервилль, открывающий Национальному собранию пароль арльских «тряпичников», а на другом — Людовик XVI, возвращающийся под конвоем из Варенна⁶⁷ снизу к королевской карете

свержения монархии эмигрировал. Возвратился во Францию в период Консульства. В 1814 году, после реставрации Бурбонов, был назначен морским министром.

⁶⁶ Многим на пользу бьет его струя! (лат.)

⁶⁷ *Возвращение короля из Варенна* . — Имеется в виду задержание Людовика XVI и его семьи, бежавших из Парижа 21 июня 1791 года с целью возглавить контрреволюционные войска и отряды эмигрантов и повести их на Париж для восстановления дореволюционных порядков. Заговор потерпел неудачу вследствие бдительности народных масс. В г. Варенне (недалеко от границы) король был узнан, задержан и возвращен в Париж. Но Учредительное собрание отвергло требование революционных групп и демократических клубов о низложении Людовика XVI, а республиканская демонстрация на Марсовом поле была расстреляна войсками.

была привязана длинная доска, и по обеим выступающим ее концам стояли два гренадера с ружьями наперевес. Большинство лавок не торговало; женщины развозили по улицам тележки с галантерейными товарами и разной мелочью; вечерами торговля шла при свечах, и оплывающее сало падало на разложенные сокровища; на улицах, под открытым небом, держали ларьки бывшие монахини в светлых париках; штопальщицей чулок, устроившейся в углу темной лавчонки, оказывалась графиня, портниха оказывалась маркизой; госпожа де Буфле перебралась на чердак, откуда могла любоваться своим собственным особняком. С криком сновали мальчишки, предлагая прохожим «листки со свежими известиями». Тех, кто щеголял в высоких галстуках, обзывали «зобастыми». Весь город кишел бродячими певцами. Толпа улюлюкала вслед песеннику-роялисту Питу, ⁶⁸ человеку, впрочем, мужественному, ибо его сажали за решетку двадцать два раза и, наконец, предали революционному суду за то, что, произнося слова «гражданские добродетели», он щелкнул себя по

⁶⁸ *Питу* Луи-Анж (1769–1828) — французский писатель-монархист, автор песенок контрреволюционного содержания; не раз подвергался аресту и ссылке.

мягкому месту; видя, что ему грозит гильотина, Питу воскликнул: «Уж если рубить мне что-нибудь, так не голову! Она-то здесь ни при чем», — и, рассмешив судей, спас свою жизнь. Этот самый Питу высмеивал моду на греческие и латинские имена; охотнее прочих он распевал песенку о некоем сапожнике, который именовал себя Цезарем, а супругу свою Цесаркой. На улицах плясали карманьолу; никто не называл даму дамой, а кавалера — кавалером, говорили просто «гражданка» и «гражданин». В разоренных монастырях устраивали танцы; украсив алтарь лампами, плясали под сенью двух палок, сбитых крестом, с четырьмя свечами по концам и лихо пристукивали каблуками по могильным плитам. В моде были синие камзолы «а ля тиран». В галстук втыкали булавку, известную под названием «Колпак Свободы», в которой последовательно перемежались белые, синие и красные камешки. Улицу Ришелье,⁶⁹ переименовали в улицу Закона, предместье Сент-Антуан — в предместье Славы; на площади Бастилии водрузили статую Природы.

⁶⁹ *Ришелье* Луи-Франсуа-Арман, герцог, де (1696–1788) — французский генерал (племянник знаменитого кардинала Ришелье), участвовал в войне Франции с Англией (так называемой Ганноверской войне) в XVIII веке.

Любимцами уличных зевак были в ту пору Шатле, Дидье, Никола и Гарнье-Делонэ, дежурившие у дверей дома столяра Дюпле ⁷⁰ и Вуллан, ⁷¹ который не пропускал ни одной казни и провожал каждую телегу, везущую осужденных на смерть, вплоть до самой гильотины, называя свои прогулки посещением «красной обедни»; известностью пользовался также Монфлабер, ⁷² маркиз и революционный присяжный, который требовал,

⁷⁰ *Дюпле* Морис (1738–1820) — владелец столярной мастерской в Париже, на улице Сент-Оноре, член Якобинского клуба, горячий сторонник Робеспьера, который жил в доме Дюпле во время революции и был помолвлен с его дочерью. После контрреволюционного переворота 9 термидора Дюпле был арестован и предан суду, но оправдан.

⁷¹ *Вуллан* Жан-Анри (1751–1801) — деятель французской революции, адвокат. Был членом Учредительного собрания и членом Конвента; явился одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.

⁷² *Монфлабер*, маркиз, де — французский политический деятель конца XVIII века, прикидывавшийся убежденным республиканцем и присвоивший себе прозвище «Десятое августа» (день свержения монархии во Франции в результате народного восстания 10 августа 1792 г.).

чтобы его называли «Десятое августа». ⁷³ Прохожие любовались на маршировавших по улицам учеников Военной школы, переименованных декретом Конвента в «воспитанников школы Марса», а народной молвой в «робеспьеровых пажей». Зачитывались прокламациями Фрерона, ⁷⁴ разоблачавшего заподозренных в негоциантизме, то есть в спекуляции. Мюскадены торчали у дверей мэрии, высмеивая церемонию гражданского брака, они улюлюканием встречали молодоженов и кричали им вслед: «Муниципальные супруги». В Доме инвалидов на статуи святых и королей нацепили фригийские колпаки. На каждом перекрестке картежники дулись в карты, но и в игральную колоду ворвался вихрь революции: королей

⁷³ *10-е августа*. — Имеется в виду народное восстание в Париже 10 августа 1792 года, приведшее к свержению монархии и провозглашению Республики.

⁷⁴ *Фрерон* Станислав-Луи-Мари (1754–1802) — французский политический деятель и публицист, член Конвента; будучи комиссаром в Тулоне, он совершил много излишних жестокостей; одновременно нажил большое состояние взятками и хищениями; опасаясь разоблачений, способствовал свержению якобинской диктатуры, позже был одним из вожаков термидорианской реакции.

заменяли «гениями», дам — «свободами», вальсов — «равенствами», а танцев — «законами». Перепахивали публичные парки: в Тюильри пустили плуг. При всем том, особенно у приверженцев побежденных партий, чувствовалось какое-то презрительное утомление жизнью. Фукье-Тенвиль,⁷⁵ получил от кого-то следующее письмо:

«...Будьте любезны, освободите меня от бремени жизни. Адрес свой при сем прилагаю».

Шансене был арестован за то, что крикнул на весь Пале-Рояль: «А когда начнется революция в Порте? Хорошо бы республику турнуть в Турцию!» И повсюду газеты. Пока подмастерья цирюльника на глазах зрителей завивали дамские парики, хозяин читал им вслух «Монитор», а рядом, разбившись на кучки, люди слушали и, взволнованно размахивая руками, комментировали статьи из газеты «Согласие», издаваемой

⁷⁵ Фукье-Тенвиль (1746–1795) — деятель французской революции, якобинец, был общественным обвинителем при Революционном трибунале в Париже; после переворота 9 термидора был арестован, а затем казнен.

Дюбуа-Крансэ ⁷⁶ или из «Трубача дядюшки Бельроза». Нередко цирюльники совмещали свое ремесло с торговлей колбасами, и рядом с манекенами в золотых локонах в окне выставлялись окорока и связки сосисок. Торговцы предлагали на площадях «эмигрантские вина»; один даже хвалился в объявлении, что у него имеются вина «пятидесяти двух марок»; другие пускали в продажу часы в форме лиры и кушетки «а ля дюшесе»; один брадобрей намалевал на своей вывеске: «Брею духовенство, стригу дворянство, прихорашиваю третье сословие». Охотно посещали гадалщика Мартена, проживавшего в доме № 173 по улице Анжу, бывшей Дофиновой. Хлеба не хватало, угля не хватало, мыла не хватало; по улицам гнали целые гурты молочных коров, закупленных в провинции. В Балле фунт баранины стоил пятнадцать франков. Объявление Коммуны гласило, что каждый едок получает на декаду фунт мяса. У лавок выстраивались очереди; одна из них прославилась своей невиданной протяженностью —

⁷⁶ Дюбуа-Крансэ (1747–1814) — деятель французской революции, был членом Учредительного собрания и членом Конвента, якобинец; в качестве комиссара Конвента проявил большую энергию в борьбе с контрреволюционными мятежниками и иностранными интервентами.

начиналась она у дверей бакалейщика на улице Пти-Карро и тянулась до середины улицы Монторгейль. Стоять в очереди называлось тогда «держатъ веревочку», так как каждый, стоя в затылок переднему, держался правой рукой за длинную веревку. Женщины среди этих бед и лишений вели себя мужественно и кротко. Целые ночи дежурили они у булочной, дожидаясь своей очереди войти в лавку. Крайние меры удавались революции; она стремилась вытащить страну из нищеты двумя рискованными средствами: с помощью ассигнатов и максимума; ассигнаты служили рычагом, а максимум — точкой опоры. Этот здравый подход и спас Францию. Враг — враг из Кобленца, в той же мере, что и враг из Лондона, устраивал ажиотаж с ассигнатами. Развязные девицы, бродя по улицам, для вида предлагали проходим лавандовую воду, подвязки и фальшивые косы, а на самом деле вели из-под полы финансовые операции; торговали ассигнатами и темные личности с улицы Вивьен в стоптанных башмаках, прикрывавшие свои сальные космы меховыми шапками, увенчанными лисьим хвостом, а также и менялы с улицы Валуа, щеголявшие в начищенных до блеска сапогах, с зубочисткой в зубах, в плюшевых шляпах, видимо близкие приятели уличных девиц, ибо те обращались к ним на «ты». Народ преследовал их, как и воров,

которых роялисты ехидно называли «сверхактивными гражданами». Впрочем, воровство стало явлением редким. Среди жесточайших лишений царила стоическая честность. Оборванцы, живые скелеты, проходили, сурово потупив глаза, мимо сверкающих витрин ювелиров в Пале-Эгалитэ. Во время обыска у Бомарше, проводившегося секцией Антуан, какая-то женщина сорвала в саду цветок; ей надавали пощечин. Вязанка дров стоила четыреста франков серебром, и нередко можно было видеть на улице, как какой-нибудь гражданин распиливал на топливо собственную кровать; зимой все фонтаны замерзли; за два ведра воды просили двадцать су; все парижане стали водоносами. Луидор стоил три тысячи девятьсот пятьдесят франков. Поездка на фиакре обходилась в шестьсот франков за один конец. Нередко седок, нанимавший экипаж на целый день, к вечеру спрашивал кучера: «Сколько с меня?» — «Шесть тысяч ливров». Торговка-зеленщица выручала за день двадцать тысяч франков. Нищий, протягивая руку за милостыней, канючил: «Подайте, люди добрые, совсем обносился, двести тридцать ливров нехватает, чтобы башмаки купить!» У мостов высились вырезанные из дерева колоссы,

разрисованные Давидом,⁷⁷ которых Мерсье⁷⁸ презрительно именовал: «Деревянные петрушки». Фигуры эти должны были изображать поверженные в прах Федерализм и Коалицию. Ни малейших признаков упадка духа в народе. И угрюмая радость от того, что раз навсегда свергнуты троны. Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица выставляла батальон. Над головой проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз. На знамени округа Капуцинов значилось: «Нас голыми руками не возьмешь!» На другом: «Благородным должно быть лишь сердце!» На всех стенах афиши и объявления — большие, маленькие,

⁷⁷ *Давид* Жак-Луи (1748–1825) — знаменитый французский художник, участник революции конца XVIII века, одно время близко стоявший к якобинцам. Широкую известность получила его картина, изображающая убитого Марата в ванне. Впоследствии Давид перешел на сторону Наполеона, получил от него титул барона и звание придворного художника.

⁷⁸ *Мерсье* Луи-Себастьян (1740–1814) — французский писатель, публицист и драматург буржуазно-демократического направления; незадолго до революции опубликовал «Картины Парижа» (в 12-ти томах), в которых ярко изобразил быт и нравы парижского общества, нищету трудящихся масс.

белые, желтые, зеленые, красные, отпечатанные в типографии и написанные от руки — провозглашали: «Да здравствует Республика!» Крохотные ребятишки лепетали: «а іга».

В этих ребятишках жило неизмеримо огромное будущее.

Позже на смену трагическому городу пришел город циничный: парижские улицы в годы революции являли собой два совершенно различных облика: один — до, другой — после 9 термидора; Париж Сен-Жюста; ⁷⁹ сменился Парижем Тальена ⁸⁰ такова извечная антитеза Творца: Синай и вслед за ним — Золотой телец.

Повальное безумие не такая уж редкость. Нечто подобное было еще за восемьдесят лет до описываемых событий. После Людовика XIV, как и

⁷⁹ *Сен-Жюст* Луи-Антуан Флорель, де (1767–1794) — один из виднейших деятелей французской революции XVIII века, член Конвента и Комитета общественного спасения, друг Робеспьера; после контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.

⁸⁰ *Тальен* Жан-Ламбер (1767–1820) — деятель французской революции, член Конвента; будучи комиссаром в Бордо, нажил огромное состояние взятками и хищениями; был одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.

после Робеспьера, захотелось вздохнуть полной грудью; вот почему век начался Регентством.⁸¹ и закончился Директорией⁸² Тогда и теперь — террор, сменившийся разгулом. Когда Франция вырвалась на волю из пуританского затворничества, как прежде из затворничества монархии, ею овладела радость спасшейся от гибели нации.

После 9 термидора Париж веселился, но каким-то исступленным весельем. Его охватило тлетворное ликование. Готовность отдать свою

⁸¹ *Регентство* — период управления Францией герцогом Филиппом Орлеанским (1715–1723), ставшим регентом после смерти короля Людовика XIV (до совершеннолетия Людовика XV). Распущенность и расточительность двора, а также неудачные банковские операции привели к полному расстройству государственных финансов и совершенно дискредитировали регента, а вместе с ним и всю династию Бурбонов.

⁸² *Директория* — правительство французской республики, заменившее Конвент после его роспуска в октябре 1795 года; состояло из 5 членов (директоров) и существовало с ноября 1795 года по ноябрь 1799 года; выражало интересы крупной буржуазии («новых богачей», биржевых дельцов). Директория вела реакционную внутреннюю и захватническую внешнюю политику. Государственный переворот 18 брюмера покончил с режимом Директории и установил бонапартистский режим.

жизнь сменилась бешеной жадной жить любой ценой, и величье померкло. В Париже появился свой Тримальхион.⁸³ в лице Гримо де ла Реньера; увидел свет «Альманах гурманов». Вошли в моду обеды на антресолях Пале-Рояля под бравурные звуки оркестра, где женщины-музыканты били в барабаны и трубили в трубы; смычок скрипача управлял движением толпы; в ресторации Мео ужинали «по-восточному» среди курильниц с благовониями. Живописец Боз написал двух своих шестнадцатилетних дочек — двух невинных, чарующих красоток — в «гильотинном» уборе, то есть в красных рубашечках с обнаженными шейками. Миновало время неистовых плясок в разоренных церквах; на смену им пришли балы у Руджиери, Люке, Венцеля, Модюи и госпожи Монтанзье; на смену гражданкам, степенно щипавшим корпию, пришли маскарадные султанши, дикарки, нимфы; на смену солдатам с босыми ногами, покрытыми кровью, грязью и пылью, пришли красотки с голыми ножками, покрытыми бриллиантами; одновременно с распутством вернулось бесчестье всякого рода:

⁸³ *Тримальхион* — главный персонаж сатирического произведения древнеримского писателя Петрония «Пир у Тримальхиона», тип богатого выскочки, обжоры и циника.

наверху орудовали поставщики, а внизу — мелкие воришки. Париж наводнили жулики всех рангов, и рекомендовалось зорко следить за своим бумажником; любимым развлечением парижан было ходить на заседания окружного суда — смотреть воровок, которых сажали на высокие табуреты, связав им из соображений скромности юбки; выходявшим из театров «гражданам» и «гражданкам» мальчишки предлагали занять места в кабриолете «на двоих»; газетчики уже не выкрикивали «Старый Кордельер»⁸⁴ и «Друг народа», а бойко торговали «Письмами Полишинеля» и «Петицией сорванцов»; в секции Пик на Вандомской площади председательствовал маркиз де Сад. Реакция веселилась и свирепствовала; «Драгуны свободы»⁹² года возродились под кличкой «Рыцари кинжала». На подмостках появился простофиля — Жокрис⁸⁵

⁸⁴ «Старый Кордельер» — газета, которую издавал в Париже Камилл Демулен, представитель правого крыла якобинцев (дантонистов); после казни дантонистов газета была закрыта.

⁸⁵ Жокрис — литературный персонаж, тип глупца, выведенный во французских комедиях конца XVIII и начала XIX века.

«Несравненные» и «ослепительные» щеголяли последними модами. Вместо «честного слова» говорили: «даю суово жегтвы», или клялись в непристойных выражениях. От *Мирабо*.⁸⁶ сползли к *Бобешу*⁸⁷ Таков Париж, вся жизнь его — приливы и отливы; он гигантский маятник цивилизации, который касается то одного полюса, то другого, — и широта его размаха от *Фермопил*⁸⁸ до *Гоморры*. После 93 года революция прошла через какое-то странное затмение; казалось, век забыл завершить то, что начал. Оргия вмешалась в его ход и вылезла на передний план, отеснив апокалиптические ужасы, заслонив гигантскую панораму минувших лет, и, натерпевшись страха,

⁸⁶ *Мирабо* Оноре-Габриэль, граф (1749–1791) — знаменитый французский политический деятель и публицист, выдающийся оратор, один из вожаков «третьего сословия» в Генеральных Штатах 1789 года. Впоследствии был подкуплен королевским двором.

⁸⁷ *Бобеш* — французский уличный актер и певец начала XIX века.

⁸⁸ *Фермопилы* — горный проход из Фессалии в среднюю Грецию. Здесь в 480 году до нашей эры семь тысяч греков под командой царя Спарты Леонида героически оборонялись против стотысячного персидского войска.

хохотала напропалую; трагедия превратилась в пародию, и лик Медузы, еще видневшийся на горизонте, затянуло дымом карнавальных факелов.

Но в описываемое нами время, в 93 году, парижские улицы хранили величественный и суровый облик начальной поры. У парижан были свои уличные ораторы, как, например, Варле,⁸⁹ который разъезжал по всему городу в фургоне и держал оттуда речи перед толпой; были свои герои, одного из которых прозвали «капитаном молодцов с железным посохом»; были свои любимцы, как, например, Гюффруа,⁹⁰ автор памфлета «Рюжиф». Одни из этих знаменитостей сеяли зло, другие очищали души. И среди них был некто, проживший роковую и поистине славную жизнь, — Симурдэн.

XI. Симурдэн

⁸⁹ *Варле* Жан (родился в 1764 г., год смерти неизвестен) — деятель французской революции, один из руководителей группы «бешеных», выражавшей интересы трудящейся бедноты; принимал активное участие в борьбе против жирондистов, критиковал политику якобинцев, пропагандировал эгалитарные (уравнительные) идеи.

⁹⁰ *Гюффруа* Арман-Бенуа-Жозеф (1742–1801) — французский политический деятель и публицист, член Конвента.

Симурдэн был совестью, совестью ничем не запятнанной, но суровой. В нем обрело себя абсолютное. Он был священником, а это никогда не проходит даром. Душа человека, подобно небу, может стать безоблачно мрачной, для этого достаточно соприкосновения с тьмой. Иерейство погрузило во мрак сердце Симурдэна. Тот, кто был священником, останется им до конца своих дней.

Душа, пройдя через ночь, хранит след не только мрака, но и след Млечного Пути. Симурдэн был полон добродетелей и достоинств, но сверкали они во тьме.

Историю его жизни можно рассказать в двух словах. Он был священником в безвестном селении и наставником в знатной семье; потом подросло небольшое наследство, и он стал свободным человеком.

Прежде всего он был упрямец. Он пользовался мыслью, как другой пользуется тисками; уж если какая-нибудь мысль западала ему в голову, он считал своим долгом всесторонне обдумать ее и лишь после этого отбрасывал прочь; он мыслил даже с каким-то ожесточением. Он владел всеми европейскими языками и знал еще два-три языка. Он учился беспрестанно и день и ночь, что помогало ему нести бремя целомудрия; но постоянное обуздание чувств таит в себе огромную

опасность.

Будучи священником, он из гордыни ли, в силу ли стечения обстоятельств, или из благородства души ни разу не нарушил данных обетов; но веру сохранить не сумел. Знания подточили веру, и догмы рухнули сами собой. Тогда, строгим оком заглянув в свою душу, он почувствовал себя нравственным калекой и решил, что, раз уж невозможно убить в себе священника, нужно возродить в себе человека; но средства для этого он избрал самые суровые; его лишили семьи — он сделал своей семьей родину, ему отказано было в супруге — он отдал свою любовь человечеству. Но под такой всеобъемлющей оболочкой зияет иной раз всепоглощающая пустота.

Его родители, простые крестьяне, отдав сына в духовную семинарию, мечтали отторгнуть его от народа, — он возвратился в народные недра.

И, возвратившись, отдал народу всю силу своей страстной души. Он взирал на людские страдания с каким-то грозным сочувствием. Священник стал философом, а философ — могучим борцом. Еще при жизни Людовика XV Симурдэн уже был республиканцем. Какая республика грезилась ему? Быть может, республика Платона,⁹¹

⁹¹ Платон (ок. 427 — ок. 347 гг. до н. э.) —

а быть может, республика Дракона.

Раз ему запретили любить, он стал ненавидеть. Он ненавидел всяческую ложь, ненавидел самодержавие, власть церкви, свое священническое облачение, ненавидел настоящее и громко призывал будущее; он предчувствовал грозное завтра, провидел его, угадывал его ужасный и великолепный облик; он понимал, что конец прискорбной драме человеческих бедствий положит некий мститель, который явится в то же время и освободителем. Уже сегодня он возлюбил грядущую катастрофу.

В 1789 году катастрофа, наконец, пришла, и он встретил ее в полной готовности. Симурдэн отдался высокому делу обновления человечества со всей присущей ему логикой, что у человека такой закалки означает: со всей неумолимостью. Логика не знает жалости. Он прожил великие годы революции, всем существом отзываясь на каждое ее дуновение: восемьдесят девятый год — взятие Бастилии, конец мукам народным; девяностый год, 19 июня, — конец феодализма; девяносто первый — Варенн, конец монархии; девяносто второй —

древнегреческий философ-идеалист, живший в Афинах в период крушения рабовладельческой демократии, автор многочисленных произведений, написанных в защиту рабовладельческого строя.

установление Республики. Он видел, как поднималась революция; но не таким он был человеком, чтобы испугаться пробудившегося гиганта, — напротив, сила его сказочного могущества и роста влила в жилы Симурдэна новую жизнь; и он, почти старик, — в ту пору ему минуло пятьдесят лет, а священник старится вдвое быстрее, чем прочие люди, — он тоже начал расти. На его глазах год от года все выше вздымалась волна событий, и он сам как бы становился выше. Вначале он опасался, что революция потерпит поражение; он зорко наблюдал за ней: на ее стороне был разум и право, а он требовал, чтобы на ее стороне был и успех; чем грознее становилась ее поступь, тем спокойнее становилось у него на душе. Он хотел, чтобы эта Минерва, в венце из звезд грядущего, обратилась в Палладу и вооружилась щитом с головой Медузы. Он хотел, чтобы божественное ее око сжигало демонов адским пламенем, хотел воздать им террором за террор.

Так настал 93 год.

93 год — это война Европы против Франции, и война Франции против Парижа. Чем же была революция? Победой Франции над Европой и победой Парижа над Францией. Именно в этом весь необъятный смысл грозной минуты — 93 года, затмившего своим величием все прочие годы

столетия.

Что может быть трагичнее, — Европа, обрушившаяся на Францию, и Франция, обрушившаяся на Париж? Драма поистине эпического размаха.

93 год — год неслыханной напряженности, схожий с грозой своим гневом и своим величием. Симурдэн дышал полной грудью. Эта дикая, иступленная и великолепная стихия соответствовала его масштабам. Он был подобен морскому орлу, — глубочайшее внутреннее спокойствие и жажда опасностей. Иные окрыленные существа, суровые и невозмутимые, как бы созданы для могучих порывов ветра. Да, да, бывают такие грозные души.

От природы Симурдэн был жалостлив, но только к обездоленным. Самое отталкивающее страдание находило в нем самоотверженного целителя. И тут уж ничто не вызывало в нем омерзения. Такова была отличительная черта его доброты. Как врачевателя, его боготворили, но отворачивались от него с брезгливостью. Он искал язвы, чтобы лобызать их. Труднее всего даются прекрасные поступки, вызывающие в зрителях дрожь отвращения; он предпочитал именно такие. Однажды в больнице для бедных умирал человек, — его душила опухоль в горле, зловонный и страшный с виду нарыв. Болезнь была, по всей

видимости, заразной; требовалось удалить гной немедленно. Симурдэн, оказавшийся при больном, прижал губы к опухоли, рот его наполнился гноем, который он высасывал, пока не очистилась рана, — человек был спасен. Так как он в ту пору еще не расстался со священнической рясой, кто-то сказал: «Если бы вы решились сделать это для короля, — быть бы вам епископом». — «Я не сделал бы этого для короля», — ответил Симурдэн. Этот поступок и эти слова прославили Симурдэна в мрачных кварталах парижской бедноты.

С тех пор все страждущие, все обездоленные, все недовольные беспрекословно выполняли его волю. В дни народного гнева против спекуляторов, вспышки которого нередко приводили к прискорбным ошибкам, не кто иной, как Симурдэн, одним-единственным словом остановил у пристани Сен-Никола людей, расхищавших груз мыла с прибывшего судна, и он же рассеял разъяренную толпу, задерживавшую возы у заставы Сен-Лазар.

И он же, через полторы недели после 10 августа, повел народ сбрасывать статуи королей. Падая с пьедестала, они убивали. Так на Вандомской площади некая Рэн Виоле, накинув на шею Людовику XIV веревку, яростно тащила его вниз и погибла под тяжестью рухнувшего монумента. Кстати, этот памятник простоял ровно сто лет; его воздвигли 12 августа 1692 года, а

сбросили 12 августа 1792 года; на площади Согласия у подножья статуи Людовика XV толпа растерзала некоего Генгерло, обозвавшего «сволочью» тех, кто дерзновенно поднял руку на короля. Статую эту разбили на куски. Позднее из нее начеканили мелкую монету. Уцелела лишь одна рука, правая, — та, которую Людовик XV простирает вперед жестом римского императора. По ходатайству Симурдэна, народная депутация торжественно вручила эту руку Латюду, томившемуся целых тридцать семь лет в Бастилии. Когда Латюд с железным ошейником вокруг шеи, с цепью, врезавшейся ему в бока, заживо гнил в подземном каземате по приказу короля, чья статуя горделиво возвышалась надо всем Парижем, мог ли он даже в мечтах представить себе, что стены его темницы падут, что падет статуя, а сам он выйдет из склепа, куда будет ввергнута монархия, и что он, жалкий узник, получит в собственность бронзовую руку, подписавшую приказ о его заточении, а от этого деспота останется лишь эта рука.

Симурдэн принадлежал к числу тех людей, в чьей душе немолчно звучит некий голос, к которому они прислушиваются. Такие люди, на первый взгляд, могут показаться рассеянными, — ничуть не бывало, они, напротив того, сосредоточенны.

Симурдэн познал все и не знал ничего. Он

познал все науки и не знал жизни. Отсюда и его непреклонность. Он, словно гомеровская Фемида, носил на глазах повязку. Он устремлялся вперед со слепой уверенностью стрелы, которая видит лишь цель и летит только к цели. В революции нет ничего опаснее слишком прямых линий. Так неотвратно влекся вперед и Симурдэн.

Симурдэн верил, что при рождении нового социального строя, только крайности — надежная опора, заблуждение, увы, свойственное тому, кто подменяет разум чистой логикой. Он не удовольствовался Конвентом, он не удовольствовался Коммуной, он вступил в члены Епископата.⁹²

Собрания этого общества, происходившие в одной из зал бывшего епископского дворца, откуда и пошло само название, меньше всего напоминали обычные собрания политических клубов, это было пестрое сборище людей. Так же как и на собраниях Коммуны, здесь присутствовали те безмолвные, но весьма внушительные личности, у которых, по меткому выражению Тара, «в каждом кармане было по пистолету».

⁹² *Епископат* — организация левых якобинцев, тесно связанная с плебейскими массами Парижа; помещалась в бывшем здании парижского епископства.

Странную смесь являли сборища в Епископате: смесь парижского с всемирным, что, впрочем, и понятно, ибо в Париже билось тогда сердце всех народов мира. Здесь добела накалялись страсти плебеев. По сравнению с Епископатом Конвент казался холодным, а Коммуна чуть теплой. Епископат принадлежал к числу тех революционных образований, что подобны образованиям вулканическим; в нем было всего понемногу — невежества, глупости, честности, героизма, гнева — и полицейских. Герцог Брауншвейгский,⁹³ держал там своих агентов. Там собирались люди, достойные украсить собою Спарту⁹⁴ и люди, достойные украсить собой каторжные галеры. Но большинство составляли честные безумцы. Жиронда,⁹⁵ устами Инара,⁹⁶

⁹³ *Герцог Брауншвейгский* — немецкий владетельный князь и одновременно генерал прусской армии. В 1792 году был главнокомандующим австро-прусских войск, вторгшихся во Францию с целью восстановления в ней дореволюционных порядков. В битве при Вальми (20 сентября) интервенты были разбиты и отброшены.

⁹⁴ *Спарта* — одно из рабовладельческих государств древней Греции.

⁹⁵ *Жиронда* — партия буржуазных республиканцев во время французской революции, выражавшая интересы

тогдашнего председателя Конвента, бросила страшное пророчество: «Берегитесь, парижане. От вашего города не останется камня на камне, и тщетно наши потомки будут искать то место, где стоял некогда Париж». В ответ на эти слова и возник Епископат. Люди, и как мы только что сказали, люди всех национальностей, ощутили потребность плотнее сплотиться вокруг Парижа. Симурдэн примкнул к их числу.

Группа эта боролась с реакционерами. Ее породила та общественная потребность в насилии, которая является одной из самых грозных и самых загадочных сторон революций. Сильный этой силой, Епископат сразу же занял вполне определенное место. В годину потрясений, колебавших почву Парижа, из пушек стреляла

крупной торгово-промышленной буржуазии; название ее объясняется тем, что наиболее видные представители этой партии были выбраны в Законодательное собрание, а затем в Конвент от департамента Жиронды. Жирондисты занимали господствующее положение в Конвенте до народного выступления 31 мая — 2 июня 1793 года, которое привело к власти якобинцев.

96 *Инар* Анри-Максимен (1758–1825) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; впоследствии получил от Наполеона титул барона.

Коммуна, а в набат били люди Епископата.

Симурдэн верил со всем своим безжалостным простодушием, что все, совершающееся во имя торжества истины, есть благо; в силу этого он очень подходил для роли вожака крайних партий. Мошенники видели, что он честен, и радовались этому. Любому преступлению лестно, когда его направляет рука добродетели. Хоть и стеснительно, да приятно. Архитектор Паллуа, тот самый, что нажился на разрушении Бастилии, продавая в свою пользу камни из ее стен, а будучи уполномочен окрасить стены узилища Людовика XVI, переусердствовал, покрыв их изображениями решеток, цепей и наручников; Гоншон, ⁹⁷ подозрительный оратор Сент-Антуанского предместья, денежные расписки которого были впоследствии обнаружены; Фурнье, ⁹⁸ — американец, который 17 июля стрелял в Лафайета из пистолета, купленного, по слухам, на деньги

⁹⁷ *Гоншон* Антуан — французский генерал, участвовавший в борьбе против вандейских мятежников; умер в 1794 году.

⁹⁸ *Фурнье* Клод, по прозвищу Фурнье-американец (1745–1823) — деятель французской революции, якобинец; не раз подвергался аресту и ссылке.

самого Лафайета; Анрио⁹⁹ — питомец Бисетра, который побывал и лакеем и уличным гаером, воришкой и шпионом, прежде чем стать генералом и обратить пушки против Конвента; Ларейни¹⁰⁰ бывший викарий Шартрского собора, сменивший требник на «Отца Дюшена», — всех этих людей Симурдэн держал в узде; в иные минуты, когда слабые душонки готовы были предать, их останавливало зрелище грозной и непоколебимой чистоты. Так, при виде Сен-Жюста замирал в ужасе Шнейдер.¹⁰¹ Однако большинство Епископата

⁹⁹ *Анрио* Франсуа (1761–1794) — деятель французской революции, якобинец; был начальником парижской национальной гвардии; принимал активное участие в борьбе против жирондистов. После переворота 9 термидора был казнен вместе с Робеспьером.

¹⁰⁰ *Ларейни* Никола-Габриэль, де (1625–1709) — французский государственный деятель, начальник полиции при Людовике XIV, отличался большой жестокостью.

¹⁰¹ *Шнейдер* Эйлож (1756–1794) — деятель французской революции XVIII века, родом из Германии, епископ, снявший с себя сан. На посту общественного обвинителя при Революционном трибунале департамента Нижнего Рейна проявлял излишнюю жестокость, за что был смещен, арестован и казнен.

составляли бедняки — горячие головы и добрые сердца, которые свято верили Симурдэну и шли за ним. В качестве викария, или, если угодно, в качестве адъютанта, при Симурдэне состоял тоже священник-республиканец Данжу,¹⁰² которого в народе любили за огромный рост и прозвали «Аббат-Шестифут». За Симурдэном пошел бы в огонь и в воду бесстрашный вожак, по прозвищу «Генерал-Пика», и отважный Никола Трюшон, по кличке «Верзила»; этот Верзила задумал спасти госпожу де Ламбаль и уже перевел ее было через гору трупов, но затея эта не увенчалась успехом из-за жестокой шутки цирюльника Шарле.

Коммуна следила за Конвентом. Епископат следил за Коммуной. Прямодушный Симурдэн, ненавидевший всяческие интриги, не однажды разрушал козни, которые исподтишка плел Паш, прозванный Бернонвилем.¹⁰³ «черный человек». В

¹⁰² *Данжу* Жан-Пьер (1760–1832) — деятель французской революции XVIII века, член Конвента, якобинец.

¹⁰³ *Бернонвиль* Пьер, маркиз, де (1752–1821) — французский генерал, в 1793 году был военным министром; впоследствии был сенатором и графом наполеоновской империи; после реставрации Бурбонов получил звание маршала и титул маркиза.

Епископате Симурдэн был со всеми на равной ноге. Он выслушивал советы Добсана и Моморо¹⁰⁴ Он говорил по-испански с Гусманом,¹⁰⁵ по-итальянски с Пио, по-английски с Артуром, по-голландски с Перейра, по-немецки с австрийцем Проли, побочным сыном какого-то принца. Его стараниями разногласия превращались в согласие. Поэтому положение его было не то что очень высоким, но прочным. Сам Эбер¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Моморо* Антуан-Франсуа (1756–1794) — деятель французской революции, книготорговец и типограф, член клуба Кордельеров, примыкал к левому крылу якобинцев (эбертисты), был казнен по приговору Революционного трибунала.

¹⁰⁵ *Гусман* (1752–1794) — деятель французской революции, испанец по происхождению; играл видную роль в борьбе против жирондистов; был казнен вместе с Дантоном и дантонистами.

¹⁰⁶ *Эбер* Жак-Рене (1757–1794) — деятель французской революции, левый якобинец, в 1790–1794 годах издавал газету «Отец Дюшен», которая пользовалась большой популярностью среди мелких ремесленников и бедноты парижских предместьев. Добивался усиления революционного террора, более решительной борьбы со спекулянтами, закрытия всех церквей. Против Эбера и его сторонников (эбертистов) выступили и робеспьеристы и дантонисты. 24 марта Эбер и некоторые другие левые якобинцы были

побаивался Симурдэна.

Симурдэн обладал властью, которая в те дни и в той трагической по духу среде давалась именно неумолимым. Он был праведник и сам считал себя непогрешимым. Никто ни разу не видел, чтобы глаза его увлажнили слезы. Вершина добродетели, недоступная и леденящая. Он был справедлив и страшен в своей справедливости.

Для священника в революции нет середины. Превратности революции могут привлечь к себе священника лишь из самых низких либо из самых высоких побуждений; он или гнусен, или велик. Симурдэн был велик, но это величие замкнулось в себе, ютилось на недосыгаемых кручах, в негостеприимно мертвенных сферах: величие, окруженное безднами. Так зловеще чисты бывают иные горные вершины.

Внешность у Симурдэна была самая заурядная. Одевался он небрежно, даже бедно. В молодости ему выбрили тонзуру, к старости тонзуру сменила плешь. Редкие волосы поседели. На высоком его челе внимательный взор прозрел бы особую мету. Говорил Симурдэн отрывисто, торжественно и страстно, непререкаемым тоном; в

казнены по обвинению в заговоре против якобинского революционного правительства.

углах его рта лежала горькая, печальная складка, взгляд был светлый и пронзительный, а лицо поражало своим гневным выражением.

Таков был Симурдэн.

Ныне никто не помнит его имени. Сколько неизвестных и грозных героев погребла в своих недрах история!

ХII. То, чего не смыли воды Стикса

Да был ли этот человек человеком? Мог ли этот верный служитель всего человеческого рода иметь какие-нибудь привязанности? И быть может, эта открытая всем душа не оставляла места сердцу? Способны ли объятия, готовые принять всех и вся, заключить одного? Мог ли Симурдэн любить? Ответим на этот вопрос утвердительно. Да, мог.

В дни молодости он жил в одном весьма аристократическом семействе в качестве воспитателя; воспитанник его был у родителей единственным сыном и наследником. Симурдэн любил этого мальчика. Но ведь так легко любить ребенка. Чего только не простишь дитяти? Ему прощается даже то, что он аристократ, что он принц, что он король. Невинность юного отпрыска заставляет забывать все преступления его рода; хрупкое крошечное существо заставляет забывать все крайности привилегий, даруемые его рангом.

Оно так мало, что ему прощают самое высокое положение. Раб прощает ему, что он его господин. Старик негр боготворит белого мальчугана. Симурдэн страстно привязался к своему ученику. Детство уж потому так неизъяснимо прекрасно, что на него можно излить все силы любви. Весь запас любви, жившей в его душе, Симурдэн обрушил, если так можно выразиться, на этого ребенка; беззащитное существо стало, пожалуй, даже добычей для этого сердца, обреченного на одиночество. Симурдэн любил мальчика со всей, какая только существует, нежностью, любил его, как отец, как брат, как друг, как творец. Это был его сын; сын не по плоти, а по духу. Симурдэн не был его отцом, не он родил его; но он был подлинным художником, и мальчик стал лучшим его творением. Из маленького аристократа он сделал человека. И кто знает, быть может, даже великого человека. Ибо об этом он мечтал. Не ставя в известность родных (да и требуется ли разрешение тому, кто решил выковать ум, волю и прямодушие?), Симурдэн передал юному виконту, своему воспитаннику, все лучшее, что жило в нем самом; он привил ребенку грозный недуг добродетели; он влил в его жилы свою веру, свою совесть, свой идеал; в эту аристократическую голову он вложил душу народа.

Дух питает человека, к разуму можно

припасть, как к материнским сосцам. Между кормилицей, вскармливающей младенца своим молоком, и наставником, вскармливающим его своей мыслью, несомненно, существует сходство. Иной раз воспитатель — больше отец, чем родной отец, подобно тому, как кормилица нередко больше мать, чем сама мать, родившая ребенка.

Глубокое духовное отцовство привязало Симурдэна к его ученику. При виде этого ребенка он всякий раз умилялся душой.

Добавим еще: заменить отца было тем легче, что ребенок рос сиротой, его отец скончался, скончалась и мать; мальчик остался на попечении старой слепой бабки и двоюродного деда, который не появлялся на сцене. Бабка умерла, дед, глава семьи, прирожденный военный, знатный вельможа, призываемый службой ко двору, покинул родные пенаты, поселился в Версале, участвовал в походах и оставил сиротку одного в огромном опустевшем замке. Таким образом, учитель стал воспитателем в полном значении этого слова.

Добавим к тому же: ученик Симурдэна родился у него на глазах. В младенчестве сиротка тяжело заболел. Смерть витала над его изголовьем, и Симурдэн бодрствовал возле ребенка день и ночь; пусть от болезни лечит врач, но выхаживает больного сиделка. Симурдэн выходил дитя. Ученик был обязан своему учителю не только воспитанием,

образованием, обширными знаниями; он был обязан ему также выздоровлением и здоровьем; он был обязан ему не только способностью мыслить; он был обязан ему жизнью. Мы боготворим тех, кто всем обязан нам; и Симурдэн боготворил этого ребенка.

Но жизнь, как то нередко бывает, развела их в разные стороны. Воспитание было закончено, и Симурдэну пришлось расстаться со своим учеником, теперь уже взрослым юношей. Сколько холодной и бессознательной жестокости скрыто в подобных разлуках! С каким равнодушием рассчитывают родители человека, отдавшего их ребенку сокровища своей мысли, и кормилицу, передавшую ему частицу своей жизненной силы. Симурдэну заплатили сполна все причитающиеся ему деньги и вежливо выпроводили прочь; так он покинул верхи общества и возвратился в низы; дверца между великими мира сего и сырыми захлопнулась; молодой виконт, записанный с детства в полк и получивший чин капитана, уехал в отдаленный гарнизон; безвестный воспитатель, в тайниках души уже восстававший против своего сана, спустился в полутемную прихожую католической церкви, именуемую низшим духовенством, и потерял из виду воспитанника.

Тут началась революция; воспоминания о том, кого он сделал человеком, по прежнему жили в